

Бой.

Стремится рогат, не выдержав
контратаки, бросает сысоту и бежит

Николай Грибачев

Забыл погребенный, но когда они вы-
шли из леса и выскочили на ржаном
конюшине, нагнали
кавалерию - было у них
воин

Когда становишься солдатом...

и
мне
мне
как было
длинной
высоту, 2,
сидели
они на
ногах и в
мисс, не
много на
исходное
надежда
надежда. 1.
освернулся на

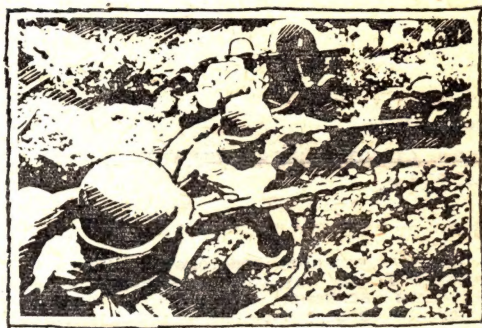


мне мучил - но
вздох, думая, что
лишь радостная улыбка
была. Он устал на солдате

**Николай
Грибачев**

**Когда
становишься
солдатом...**

**ДНЕВНИКИ, ЗАПИСКИ,
ВОСПОМИНАНИЯ**



**МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ СССР
1987**

ББК 84Р7
Г82

Рецензенты С. С. Алферов, Ю. Т. Грибов

Грибачев Н. М.
Г82 Когда становишься солдатом... — М.: ДОСААФ,
1987.— 224 с.

90 к.

В книгу известного советского писателя, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий вошли записки, дневники и воспоминания 1939—1945 годов. Автор был военным корреспондентом на советско-финляндской войне, командиром взвода, командиром саперного батальона на Сталинградском фронте, с мая 1943 года и до конца войны — специальным корреспондентом газеты «Вой вой товарищ» 3-й гвардейской армии.

Книга отличается документальностью и глубокими раздумьями о войне и мире.

Для массового читателя.

Г $\frac{4702010200-012}{072(02)-87}$ 45-87

ББК 84Р7
355С.58

© Издательство ДОСААФ СССР, 1987

ОТ АВТОРА

Не раз мне советовали — напиши записки комбата. Я соглашался — надо. Но все ограничивалось ссылками в статьях на некоторые эпизоды, публикацией части дневников. Между тем у меня сохранились блокноты с записями тех давних времен — короткими, поспешными, с умолчаниями и «затуманиваниями». Почему так? На фронте запрещалось вести записки — попав к противнику, они становились разведданными или материалами для немецкой пропаганды. Константин Симонов, сам много и успешно написавший о войне, узнав о моих блокнотах, сказал однажды:

— Расшифруй, напиши, используй все... После нас придут другие, им нужны живые впечатления, подробно-сти. Уйдем мы — унесем. Нехорошо...

У меня не раз выходила книга «Здравствуй, комбат!», в ней — повесть о комбатах и солдатах «Белый ангел в поле». По существу, это также документальная книга, все события реальны, многие герои носят собственные имена. И все же в соответствии с законами художественной прозы в нее, при углубленных характеристиках персонажей и логике сюжетов, много подробностей не вошло, и, пожалуй, она вполне отвечает лишь на вопрос — что делает солдат, но не на вопрос — как становятся солдатом. Во всех смыслах — теории, тренировки, воспитания дисциплины, психологической перестройки. А это важный фактор — победы мало хотеть, к победе мало призывать, ее надо упорно добывать в жестких условиях боя. Умением, смекалкой, бесстрашием до самопожертвования. Но прежде, чем этим качествам проявиться, их приходится накапливать в буднях, иногда нудных, изнуряющих. Я это испытал на себе и знаю по рассказам товарищей.

Из ничего и не выжмешь ничего.

Легче, судя по всему, было кадровикам, тем, кто кончил специальные военные школы. Но во время войны, особенно с 1942 года, они составляли основной каркас армии, а главная масса солдат и командиров от младших до средних влилась из гражданки. Это было в тысячу раз труднее, чем сменить одну мирную профессию на другую.

Я в армии до войны тоже не служил, был журналистом и литератором, «в строй» напросился сам в октябре 1941 года. Но это имело значение только в том смысле, что я просто не мог не вести записок, хотя бы кратких, поскольку привычка к ним въелась в плоть и кровь. В остальном перестройка «на военный лад» проходила не лучше и не хуже, чем у других. Да, кстати, и к самим запискам побудило одно вроде пустяковое обстоятельство — ротный сапожник из бумажных отходов смастерил мне симпатичный и солидный блокнот, одев его в свиную кожу. Вот он и сейчас, спустя сорок лет после войны, передо мной... В магазинах подобных не найдешь, он вроде сам побуждает — пиши... Мастер был, этот ротный сапожник, понимал толк!

Даты в моих записках «сбиты», имен, по понятным соображениям, мало, характеристик и биографий я избегал, обстановку излагал в частностях. Почему делал это — понятно, а на что надеялся? На память. Важно было «поставить вехи», а потом, был я уверен, восстановится — разве можно те дни забыть? И надо сказать, что память действительно способна воскрешать прошлое — тронешь частность, а она разворачивается в движущуюся картину с такими деталями, что им и конца нет. Кажется, что опять снаряд подвывает, и мурашки по коже... Но вот многие психологические характеристики утратились, растаяли в тумане времени.

Впрочем, мог бы я, честно говоря, написать во всех подробностях психологические портреты солдата Афанасенко, ставшего позже Героем Советского Союза, певуна и расторопного сержанта Юрченко, неспешного, вдумчивого, бесстрашного сержанта Мунтяна? Вряд ли. Это могли бы сделать в полноте только они сами — душа человека не заезжий двор, не всем и всегда ворота открываются. Да в тех условиях углубленным психоанализом и заниматься было некогда. Прав К. Симон — надо письма и рассказы-исповеди ветеранов собирать в краевых, областных, специальных музеях и

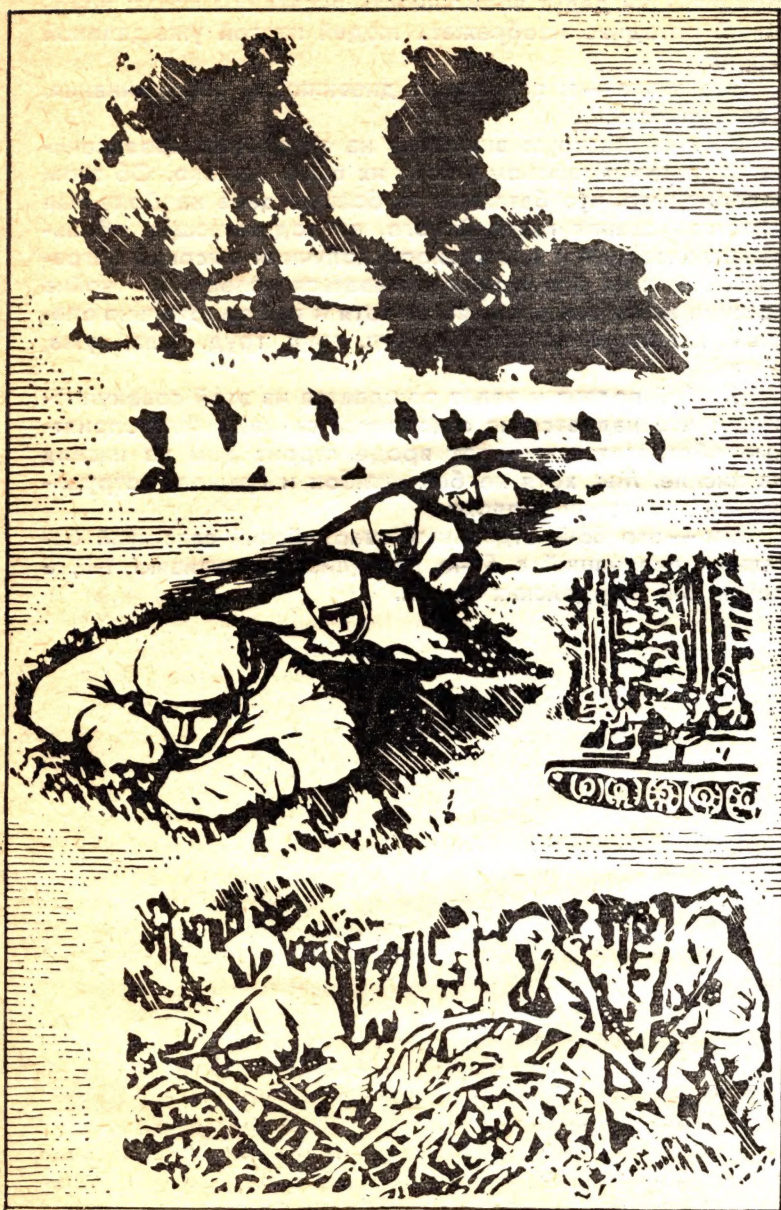
фондах. Они дадут возможность писателям новых поколений правдиво изображать людей на той уже далекой войне.

Эта книга — и записки, и дневники, и воспоминания. Совокупность,

Я не акцентирую внимания на отдельных проявлениях подвигов и героизма, хотя их было немало. Об этом говорит и то, что батальон за боевые дела на Дону был удостоен звания гвардейского, а подавляющее большинство солдат и командиров получили высокие награды. Мне, хотя это может показаться спорным, война прежде всего представляется хотя и как смертельно опасный, и тяжкий, но все же труд, труд, труд. Тела, ума, души!

Любой подвиг и взлет рождается из этой совокупности. А кто надеется на счастливый случай и благоприятные обстоятельства — тот вроде строит дом из киселя на киселе. Мы, хотя не без ошибок и срывов, потрудились и повоевали неплохо.

Мы — это 66-й отдельный гвардейский саперный батальон, входивший в 59-ю гвардейскую дивизию 1-й, а потом 3-й гвардейских армий.



І. УМЕНЬЕ КОПИ...

НЕ КАДРОВИК

В конце марта сорок второго года, перед вечером, когда небо стало розоватым, а воздух синим и морозным, в Костроме к поезду, похрустывая упавшими с крыш сосульками, шел тридцатилетний капитан. Новенькая, щегольски пошитая шинель, хромовые сапоги, масляно блестящие ремни и портупеи. Вероятно, штатским людям, толпившимся на перроне, особенно девушкам, он казался воплощением лихости и воинственности.

Таким он казался и самому себе. Правда, общую картину несколько портил тощий и выдавший виды рюкзак, в котором заключалось все имущество капитана, каким он обладал к тому времени, — две смены белья, шерстяные носки, носовые платки, фотоаппарат, бритва и сухой паек на два дня. Ничего и нигде у него больше не было. Семья отца осталась на оккупированной территории или эвакуировалась, этого он не знал, комната со всем, что к тому времени нажил, находилась в Смоленске, занятом немцами. Впрочем, в таком положении — одежи что на коже, хлеба что в животе — находилось бесчисленное количество людей, и эта бездомность его не волновала.

Какой-то коренастый майор в полушубке, с перебинтованной и подвязанной к шее рукой, критически осмотрев капитана, сказал стоявшей рядом женщине-врачу:

- Сверху шик, внутри пшик.
- Ну зачем же так? — укорила она.
- За сто верст видно — не кадровик.
- Где их, кадровиков, теперь наберешься...

Щеголеватым капитаном, к которому относилось замечание, был я. И так как майор говорил беззастенчиво, с явным расчетом, что я его услышу, то я и услышал. Первым моим побуждением, несмотря на различие

в звании, было — огрызнуться: «Вы, кадровые, чуть не сдали немцам Москву, а мы, не кадровые, должны теперь делать ваше дело. Ранен — ну и что? Я тоже лежал под бомбами и снарядами, пережил контузию, когда кровь из ушей и рта...» Однако, поразмыслив, пришел к выводу, что майор прав: под шикарной военной формой, пошитой в военторге, сидел на две трети штатский человек. Правда, я только окончил в Костроме инженерные курсы усовершенствования командного состава, получил звание капитана и назначение на должность командира саперного батальона. Но это ничего не меняло. Так уж сложилась моя жизнь, что я ни одного дня до войны не служил в армии, хотя порох нюхал уже не однажды...

Впервые это случилось, когда в качестве корреспондента смоленской газеты «Рабочий путь» я участвовал в западно-белорусском освободительном походе. Но был в пиджаке и шляпе. Осенью 1939 года попросил редакцию дать мне командировку на финский фронт. В редакции посмеялись — отчего же не дать? Бумага все стерпит... Но на областном уровне решить вопрос было нельзя.

— А материал газету интересуется? — спросил я у редактора.

— Сам знаешь.

— Тогда пишите. Буду пробиваться через Москву.

В Москве, в Союзе писателей, для которого я был последней спицей в колеснице, сказали: «Было такое у нас право, а теперь нету. Только через Ленинград».

В Ленинграде, в политуправлении фронта, мы оказались вместе с писателем Павлом Далецким, автором романа «На сопках Маньчжурии». Его пригласили первым. Вышел он буквально через три минуты:

— От ворот поворот...

— Почему?

— Подробно не объясняют. Говорят — есть распоряжение.

Мне тоже отказали: «На данном этапе вопрос закрыт. Дальше будет видно». Я упомянул, что долгое время работал в Карелии, писал поэму об Анти-Антикайнене, стихи и рассказы о пограничниках. Это немного заинтересовало, но породило лишь совет:

— Езжайте в Петрозаводск. Там кое у кого возможности есть...

В Петрозаводске, не без помощи моих старых товарищей из редакции, на фронт меня все же «протолкнули». Но, конечно, не в военную печать, а «вольной птицей», на свой страх и риск — мол, армия своя, на месте разберешься. И в собственном «обмундировании» — длинном, по тогдашней моде, пальто с рыжим воротником, под которым были пиджак и толстый свитер, в подшитых валенках и лохматой шапке.

На «подвоз» упросился в колонну машин.

Ночь, морозная и мгlistая, метель, глухо шумящий лес по сторонам. Словно из снятого молока, белесый с синеватым отливом рассвет — долгий, медленный. Все это я знал и прежде, по «штатским временам», но теперь кругом царила тревожность и напряженность, особенно когда проехали бывшую границу. И не напрасная тревога — вскоре оказалось, что летучие финские отряды перерезали дорогу: ни вперед, ни назад.

— И что дальше? — спросил я у начальника колонны.

— Мерзнуть, — вздохнул он. — Мы уже не раз на этой дороге бывали в такой каше, всякий раз по-разному выходит... Спросите у начальника поста, может, он знает, что и как...

К начальнику поста, младшему лейтенанту, пришлось добираться ползком: справа через низинку, вероятно, занесенное снегом болотце шириной метров в сто пятьдесят — двести, почти непрерывно, сменяя друг друга, били пулеметы. Младший лейтенант с горсткой солдат укрывались за двумя большими валунами. Тут было даже уютно — натянута брезент, под которым с выводом примитивной трубы к дороге топилась печка-буржуйка. Тепла от нее было «кот наплакал», только непосредственно вблизи, но среди снегов и это кое-что. Младший лейтенант, гревший руки у печки, сперва отнесся ко мне весьма подозрительно, однако, прочитав удостоверение, снизошел до разговора:

— Впереди что-то случилось, — сказал он, — дороги нет. А тут шюцки эти — так он называл финских солдат, имея в виду «шюцкор», — подкатились вон в те скалы, пулеметами не то что все живое, а и снег с дороги сметают. Выбить некому, фронт впереди.

— Как же быть мне?

— Как всем... Ждите. При себе разместить не могу, сами видите. И у нас все время ушки на макушке — вдруг двинут?..

Двадцать шесть часов вместе с горсткой других попутчиков пролежали мы в снегу. Именно в снегу — водители машин позади оставались в кабинах, иногда вылезая, чтобы побегать и согреться; из нас, разных «попутчиков», организовали как бы охранную группу, выдвинув ее чуть вперед и правее дороги. Мы пролежали или проелозили по снегу на коленках — окопа не выроешь, разве что динамитом, пулеметы бьют непрерывно, даже ночью. Патронов там не жалели! Кто вставал в рост, тот погибал. Даже молодые елочки, полуокружавшие слева полянку, были ровно сострижены пулями на метр от земли: вертикальный угол обстрела у финнов ограничивала небольшая гряда валунов, иначе «выстригли» бы и нас.

Лишь через двадцать шесть часов подошла какая-то наша часть, сняла осаду и открыла дорогу. Есть пришлось только мерзлый хлеб, ничего другого не было. А когда невтерпех хотелось пить, хватали снег — не было воды, у кого оставалась в фляжке — превратилась в лед.

Наконец поехали. Через полкилометра стала ясна причина задержки: на колонну машин налетела группа финских автоматчиков. Некоторые машины сгорели, другие покорежены пулеметными и автоматными очередями. Убитые водители и сопровождающие в кабинах. А справа на пологом склоне с редкими березками десятка два побитых финнов, у некоторых на ногах так и не снятые лыжи, в руках уткнувшиеся дулами в снег автоматы. Необычным казалось обмундирование — на ногах меховые пьексы, сапоги с загнутыми носками, теплые и легкие брюки, короткие меховые куртки — все мобильно, практично.

Часа через два или три на берегу озера под Питкярантой остановились у какого-то домика и попали под бомбежку при лунном свете. Первую в моей жизни. Призрачный свет, жемчужное свечение снега, покрывшего лед на озере, негромкое жужжание легкого самолета и — уханье взрывов, черные полыньи на белом...

Думаю, что тут с боевым крещением мне повезло — без больших потерь и стонов вокруг я в первом случае адаптировался к свисту и визгу пуль, а во втором — совершенно не испытывая страха, наверное, с непривычки, с крыльца домика наблюдал за маневрами самолета, за тем, как ложились бомбы...

Когда я прибыл в дивизию и на следующий день заглянул в роту разведчиков, комиссар Зернов сказал:

— Похож ты на какого-то колхозного бригадира. Ладно, поживи у нас, кое к чему присмотришься. Может, и обличье подправим...

Доставали многое, главным образом трофейное, но, конечно, с обмундированием ничего не выходило, «обличье» мое оставалось сугубо гражданским.

Разведчики жили в большом покинутом доме на оконечности скалистого мыса. Вихры сосен, огромные валуны, острая серая скала, похожая на обывдевший уют, поставленный на стекло,— она как бы удваивалась отражением во льду недавно замерзшего здесь озера. Снег сметало ветром. Дом натапливали до банной духоты, часами крутили трофейный патефон, мяукающие фокстроты будили воспоминания о танцевальных залах. На второй день разыгралась метель, земля мешалась с небом, сосны гудели под ветром, как гигантские струнные инструменты, две группы по шесть человек ушли на разведку.

— Самое для нас распрекрасное время,— сказал комиссар Зернов.

— И для них тоже,— вздохнул командир, который тоже уходил.— Держите тут уши на макушке...

И в самом деле, следующую ночь мы не спали — у конца залива, где располагался штаб полка, время от времени вспыхивала перестрелка. По телефону сообщили: в наш тыл просочились диверсионные группы финнов, есть убитые и раненые. Выставили посты. В доме сидели, настороженно, прислушиваясь к вою вьюги, при смене часовых солдаты, возвращаясь, были похожи на снеговиков. Но на мыс финские диверсанты не зашли, а через сутки первая наша группа вернулась в половинном составе — три человека были убиты.

Потом я жил в окопах, которые после каждой метели доверху заваливало снегом, пахал головой сугробы на берегу какой-то извилистой, с крутыми каменными берегами речушки в районе Сортавалы. Финны сидели на высоте, в седловине каменной гряды, боеприпасов не жалели, и минометы, о которых я тут узнал впервые, показались мне воистину дьявольским изобретением. Мины в морозном воздухе летели со змеиным шипением, рвались с резким, сухим треском, рождая снежные дымки и раскидывая веера осколков. О чем я ду-

мал в таких переделках? Сердце начинало холодеть, словно вместо него засунули в грудь комок мокрой ваты,— работал страх, пронзительный, поверх сознания,— а мысль обостренно улавливала каждую деталь, откладывая в памяти. Надо бы записывать, я приехал сюда затем, чтобы рассказать в очерках, какая она, война, как чувствуют себя люди, о чем думают, но руки даже в рукавицах застывали, пальцы не держали карандаша. Близость смерти,— вот она, снова шуршит,— неоглядные завалы снегов и холод, холод, пробирающий до костей... Может быть, финны привыкли к своей природе, им все нипочем? Десятилетия спустя мы встретились в Сочи с известным финским писателем Мартти Ларни, оказалось, он тоже был в то время там.

— Мерз ужасно,— признался он.— Зима была какой-то сумасшедшей. И осколком спину мне тогда повредило, вот и в Сочи приезжаю лечить. В другие страны ездил — не помогло, здесь — даже танцевал... Роман мой «Четвертый позвонок» не выдумка — моя болезнь, сам мыкался, а заработал на той войне...

Полтора месяца ледяных сумерек в оружейном грохоте и винтовочной трескотне. Пришел приказ — немедленно откомандировать меня в Петрозаводск. А дивизия сидела в своеобразном окружении, на дороге, севернее и южнее,— другой не было и через скалы проложить невозможно — образовались «узелки» — засевшие в скалах группы финнов с пулеметами и автоматами. В сумерках мимо КП шли два танка, на один из них, второй, меня и посадили — сверху, позади башни. Командир сказал:

— Внутри негде, полно боеприпасов. Если полоснут огнем, скатывайся, ползи под днище, как-нибудь втиснем.

Фары высвечивают дорогу — узкую, как туннель. Слева — скалы, сосны и елки, справа — валуны, сосны и елки. Переезжаем какую-то речку, треск, завывание мотора, гусеницы перемалывают лед и скрежещут по камням. Спина у меня от соседства с броней давно заледедела, валенки, оттаявшие над воздухозаборной решеткой, мокры, а теперь еще окатывает меня брызгами и водяной пылью. Начинает падать снег — густой, крупными хлопьями. В свете фар это феерическое, праздничное зрелище, но я думаю об одном — когда же конец мучениям?

Приехали в Питкяранту — ни одного выстрела так и не было, командир сказал, что автоматчики с танками предпочитают не связываться, боятся снарядов и картечи.

Питкяранта — маленький городок за мостом через проливчик — сейчас сплошной госпиталь. Утром в заливчик, ломая нетолстый лед, подошли финские канонерки, обстреляли из орудий прямой наводкой, в одном здании видны проломы в стене, погибли раненые, несколько врачей.

Резко усилился мороз — минус сорок три! Говорят, в Сибири при сухом воздухе и такой легко переносится — не знаю, не бывал. Здесь — тяжело, влага воздуха превращается в мириады крошечных кристалликов, вдохнуть напрямую невозможно, только через подшлемник. Но через подшлемник же приходится и выдыхать, пар немедленно конденсируется и замерзает, подшлемник становится ледяной маской. В три часа дня, а тут это уже сумерки, около ста грузовиков, кузова которых набиты соломой и прикрыты брезентом, увозят легкораненых. Меня устраивают в кабину четвертой от головы полуторки, молодой шофер с примороженной щекой говорит:

— Нам бы только до Видлицы дотянуть, там — живем!

Видлица мне памятна, там я начинал поприще гидротехника, позже написал поэму «Видлица» — о коммунистах, принявших на себя в восемнадцатом году удар белофиннов. Спрашиваю — причем Видлица? Ведь едем по своим тылам.

— Тут такая чертовщина бывает... Дай бог — пронесет!

Восстанавливаю в памяти карту — от Питкяранты до Видлицы по прямой всего-то километров сто. Снега, конечно, не разгонишься, но к утру доберемся... Все больше закручивается метель, свистит и шипит ветер, и, хотя кабина не отапливается и ноги начинают примерзать, я погружаюсь в дрему. Но и в дреме все время что-то беспокоит, тревожит. Просыпаюсь. Машина стоит, словно погруженная в кипящее молоко. Небо, поле, близь, даль — все смешалось и переходит одно в другое, все серовато-белое.

— Примерзли, — говорит шофер. — Надолго.

— Почему?

— Встречная колонна...

Дорога и так плоха, заснежена, ехали с пробуксовками, а встречная колонна — бедствие. Разъехаться в узком корыте никакой возможности нет, по закрайкам — полутораметровые смерзшиеся валы, в поле сыпучие снега по пояс. Шоферы ругаются и копают, копают и ругаются — другого выхода нет, надо прокладывать объезд по целине. Час, другой, третий... Воя моторами, колонны начинают обтекать одна другую, включают фары. И почти вслед за этим вдалеке справа возникают четыре кинжальных вымаха пламени, свист и почти немедленно разрывы снарядов.

— Погасить фары! — кричит кто-то.

— Это они с острова, — поясняет шофер. — Днем тут лучше не ездить, расколошматят. По ночам пробираемся. Наши сначала подолбали их пушки своей артиллерией и бомбами, а они по озеру новые подвозят.

Фары погасили, но теперь шоферы почти не видят дороги, все сливается в серое месиво. К машине впереди радиатора ставят человека, он раскидывает руки, идет, ощупывая дорогу валенками, на него ориентируется водитель — на живой черный крест. Опять час, другой, третий. Небо очистилось от туч, начинает светать, но, кажется, еще сильнее стал мороз.

— Братцы, скорее! — стонут раненые. — Загинем!

Но шоферов не надо уговаривать, они сами знают, что будет, если рассвет застанет их на открытом месте... Разъехались. Дорога идет лесом, встает из ядовито-синего марева солнце, на душе веселее.

И вдруг снова остановка — впереди завал, две свежеспиленные сосны перегородили путь. Из второй машины выскакивает лейтенант, сухо трещит выстрел из сосняка на горном склоне. Лейтенант падает, пробито плечо. Кто-то, сидевший в третьей машине, спрыгивает направо — выстрел, но впустую, спрыгнувший успевает скрыться за кузовом. Больше из машин никто вылезать не рискует, молчит и снайпер. Солнце поднимается все выше, мириадами синих и красных искорок сверкает снег на ветвях деревьев, первозданная белизна и чистота вокруг. И безжизненно стоящая колонна машин — только шумят, работая на малом газу, моторы — выключить нельзя, заморозишь радиатор. Наконец, впереди появляется броневилок, оценив обстановку, делает несколько выстрелов в сосны и елки на склоне. Шрапне-

лью. Выстрелы трещат сухо, деловито, взмываются белые облачка пыли...

Проехали совсем мало, а солнце уже идет к закату. Ночуем в Салмине — небольшой и по преимуществу деревянный городок этот выжжен самими финнами при отступлении, сохранились только два небольших здания да бани. В зданиях комендатура и какая-то хозчасть, мы ночуем в банях. Устраиваюсь на верхней полке, в изголовье кладу два неиспользованных веника, под бок льняную тресту, по непонятной причине сваленную в углу. Среди ночи была стрельба, пули густо чмокали и в бревна баньки. Налет группы финских лыжников. И снова едем целый день в бесконечных пробуксовках — дорогу не успели прочистить. И опять ночуем в какой-то покинутой деревушке на берегу речки — передние машины не одолели крутого выезда, под идущими вслед стал проседать лед, начала проступать вода, появилась опасность вмерзнуть. Надо было подаваться назад. А дело к ночи, идем в пустующий дом, топим печку.

Ночью опять переполох, стрельба из автоматов. Раненые — их человек сорок в одной комнате — нервничают, наиболее горячие предлагают выбираться на улицу и занимать оборону. Но на всю нашу компанию три винтовки у шоферов и пистолет у меня. Находится разумный человек, предлагает — свет погасить, ждать. Какой-то скептик недоумевает:

— Ждать... А если гранату в окно кинут?

— Снег заскрипит, услышим...

На том и сходимся. Вскоре стрельба затихла, но какой уж тут сон и отдых? Кто-то в темноте уточняет:

— На одном ухе спишь, другим слушаешь...

Лишь трое суток спустя, поздней ночью, въехали мы в Петрозаводск, который я покинул около двух месяцев назад. Остановился я у своего товарища, молодого писателя Сергея Норина. Утром он посоветовал мне сходить в баню, я пошел, в душевой сел на лавку и под густым теплым дождевиком... уснул. Разбудила меня через два часа пожилая тетенька, заметив, что я сконфужен, утешила:

— Да не ты первый... Сколько их тут, как дорвутся до теплыни, засыпают!

Весь вечер Сергей Норин расспрашивал меня — что там, как? А у меня в голове сумбур — жестокая эта война, во мгле и морозе, с лыжными партизанскими рей-

дами по тылам, с «кукушками» при дорогах — снайперами, которые в белых халатах и с винтовками, обмотанными марлей, прятались в елях и соснах, поджидая очередную жертву. И с широким минированием, какого до тех времен не знала история, — разнокалиберные и разносистемные, мины закладывались на дорогах, на тропинках, в лесных завалах, в домах, в банях, везде, куда мог ступить человек. Прекрасные лыжники, люди, закаленные севером, финны сражались умело, с выдумкой, беспощадно. Урок? Наверное. До этого времени война представлялась мне в цокоте копыт, в грохоте танков, в атаке навалом — штыки вперед, «Ура-а!» и наша берет. Тут же, атаку ли взять, оборону ли, все на расчете, маскировке, выдержке, злости и железной воле, на сверхчеловеческой выносливости... Сергей Норин слушал меня внимательно, интересовался подробностями, но, по всему судя, полагал, что я преувеличиваю. Позже, во время второй мировой, он погиб где-то в тех же местах от финской пули.

Надо заметить, что именно на этой «зимней войне» с финнами получили первый опыт и некоторые наши известные писатели — оттуда, из тех снегов и мглы, начинается «Василий Теркин» Александра Твардовского...

Мог бы я еще рассказать майору, как выпускали мы под постоянными бомбежками газету «Рабочий путь» в Смоленске. Город уже наполовину лежал в руинах, большая часть населения эвакуировалась, бомба наполовину разнесла здание типографии, а газета хоть и уменьшилась наполовину в формате, но все же регулярно выходила. А после работы в редакции, ночью и тоже под бомбежками, ходили мы, в том числе с известным поэтом Николаем Рыленковым, в ночные патрули, проверяли документы — немцы начинали город диверсантами и шпионами, надо было держать строгий порядок. И еще — как с авиатехником, еле выбравшимся из бельских лесов в Белоруссии, в поисках своих частей двинулись мы под Малоярославец через Наро-Фоминск в октябре 1941 года, как вытаскивал он меня, контуженного, с кровью изо рта, из-под торфа, которым меня завалило при бомбежке, как позже, во второй половине дня, помогали мы эвакуировать самолеты «миг» с аэродрома, на который вот-вот могли ворваться немцы. После войны уже я написал об этом рассказ «День и две ночи» — подлинную историю, без всякого вымысла...

Но, как сказано выше, ничего я майору на костромском вокзале не ответил — и некогда было, и ни к чему. Да и не понял бы меня кадровик, раненный в бою.

То, что я пережил, было мое и во мне. Конечно, я уже «обкатан» огнем разных видов, приобрел определенный опыт, кое о чем написал, многое осмыслил, но все же я никогда до войны не носил военной формы и не командовал людьми. А я знал при том, что это «совсем другой коленкор», что на фронте, в горячке боя, не только выполняют приказы «сверху» — в острой ситуации придется принимать решения и самому. И от того, насколько быстро и верно ориентируешься в обстановке, насколько правильное решение находишь, зависит не только успех или неуспех, а и жизнь — твоя и твоих товарищей.

Майор, судя по всему, был в этом испытан. А как справлюсь я?

С этой тревожной мыслью, то затухавшей, то становившейся нестерпимо беспокойной, я и покинул Кострому.

ДОРОГА

Поезд тронулся. В окнах проплыли редкие огоньки станции, совсем уже узенькая, с лезвие ножа, полоска заката. Потом пошла серая с голубоватым оттенком, какая-то ватная мгла, в которой смутно проступали очертания лесов и рощ. Вагон был забит до отказа, во множестве ехали женщины и дети, и в каждой душе можно было читать беспокойство, тревогу, печаль, порой отчаяние. Тучи на сердце. Война сорвала этих людей с насиженных мест, круто переломила все судьбы, многие женщины ничего не знали о мужьях, дети — об отцах. Вероятно, это общее горе порождало особый, какой-то деликатный коллективизм — никаких громких, с вызывающим тоном разговоров, обычных прежде для некупированных вагонов, никакой задиристости, ссор и капризов. Разговоры вполголоса, иногда неловкое, но все же старание утешить, помочь совсем незнакомому человеку.

Я, спросив разрешения и ободренный общим согласием, сразу забрался на третью, верхнюю полку в двойном расчете — не мешать пассажирам внизу и отоспаться.

Курсы мне дались нелегко. Огромное, как вокзал или кинотеатр, с высоким серым потолком помещение казармы, плотно забитое двухэтажными нарами, плохо отапливалось и освещалось. Тусклая лампочка у входа и темная фигура дневального, космы холодного пара из-под двери, маслянистые стволы винтовок в пирамиде. Мне досталась нижняя койка, и я к утру основательно застывал под тонким казенным одеялом. По команде «Подъем» вскакивал, ознобно поеживаясь, еще в сонной одуре, плохо соображая, заправлял постель. Делать это нужно было споро и точно, потому что старшина, если подворот простыни превышал норму хотя бы на полтора сантиметра, молча заворачивал одеяло на подушку, и все надо было начинать сначала. Иногда по два и по три раза, особенно в первую неделю после того, как я сюда попал. Однажды, заметив, что я на последнем градусе от злости и обиды, старшина сказал:

— Не надо! Армия — это точность и выносливость.

В умывальнике, прежде чем побриться и помыться, надо было сбивать сосульки с кранов. Аудитория сплошь и рядом не отапливалась, записывать лекции и чертить схемы приходилось не гнужимися от холода пальцами. А я старался делать это с особой тщательностью — схемы минирования, расчеты, классификацию взрывчатых веществ, формулы по мостостроению и подрыву мостов, способы прокладки дорог колонных и рокадных кратко, самым сжатым образом, заносил в небольшой блокнот с клетчатой бумагой, чтобы потом, в боевых условиях, постоянно иметь под рукой необходимый материал. И справочник получился отличный, перед окончанием курса мне за него некоторые командиры предлагали немалую сумму. Дорого? Нет, пожалуй — дешево: война шуток не любит, а справочников такого рода, если они были когда-либо в мирное время изданы, достать не было никакой возможности. И сколько раз выручал меня этот блокнотик потом!

Теорию сменяла практика. В поле свистели вьюги, а на тактические занятия, длившиеся с утра до ночи, мы выходили в легком обмундировании — хлопчатобумажная куртка на вате, хлопчатобумажные летние брюки, растоптанные кирзовые сапоги с байковыми портянками, жиденькие перчатки. Все мы имели командирские звания, правда, небольшие, но на курсах это не имело никакого значения — на положении рядовых и в обмунди-

ровании рядовых. А так как в теплом, прежде всего, нуждался фронт, то нам давали то, что оставалось, главным образом б/у — бывшее в употреблении.

Правильно, нет? Думаю, что правильно. Не только потому, что при ошеломляюще быстром наращивании армии образовались нехватки, но в первую очередь потому, что для полного понимания дела командир обязательно должен побывать в положении рядового, полностью на себе испытать то, что приходится на его долю.

Особенно тяжело приходилось, когда выпадало стоять на посту возле склада с боеприпасами или возле воинских эшелонов на станции. Мгла, метели, ноги и руки замерзали до того, что становились как бы деревянными. Для меня это было особенно чувствительно, потому что три пальца на правой и два на левой ноге были отморожены еще под Сортавалой. Их я переставал чувствовать в первую очередь, потом озноб поднимался к спине, к плечам и, как плотица в заморной воде, в голове крутилась только одна мысль: поесть бы и поспать, поесть и поспать! Ведь при жесточайших физических и нервных нагрузках питались мы весьма скромно, с подмерзшей картошкой и глиноподобным хлебом в пайке. Здоровые наши желудки постоянно скулили.

Только раз дней в двадцать, когда назначали на патрулирование в город, можно было досыта поесть за свой счет в военторговской столовой, для командного состава. Нас, курсантов, там знали, снисходительно принимали, хотя кормили в последнюю очередь, с учетом того, что оставалось. Разносолов не было, жиденькие супы и котлеты на две трети из хлеба. Но, если была возможность, мы съедали по два обеда сразу. И, если верить субъективным ощущениям, основное положение диалектики сохранялось — количество переходило в качество.

Все же при всех тяготах, которые были для меня вновь, жаловаться было не на кого: вместо того, чтобы идти по указанию политорганов в журналистский резерв, я сам напросился в строй.

Теперь, на неблизкой дороге в Армавир, я мог если не отъесться — из сухого пайка пира не устроишь, — то во всяком случае отогреться и отоспаться. По задолженности и в запас.

Однако оказалось, что даже такую операцию, как

сон, легче задумать, чем осуществить. Раскинув на полке, до блеска отполированной боками разных предшественников, шинель и ею же укрывшись, пристроив в изголовье рюкзак и шапку, угнездившись и угревшись, я вполне изготовился для отличного ночлега, но так и застрял где-то на рубеже полудремы. Стучали колеса, покачивался и скрипел вагон, сипел по крыше холодный ветер, а вместе с тем в голову лезли разные мысли. Невеселые. Я ничего не знал об отце и матери, ничего — о братьях и сестрах. Где они, что с ними? В пору самых жестоких бомбежек Смоленска, когда все вокруг ревело, выло, горело, чадило, рушилось, я посадил в товарный эшелон тещу и четырехлетнего сына — куда ушел и дошел этот битком набитый мятущимися, перепуганными людьми эшелон? И дошел ли? Или скатился под откос под ударами пикировщиков, как, я видел это сам, случилось со многими под Сухиничами, Вязьмой, Калугой? А еще снова и снова всплывало в памяти ядовитое замечание майора с перевязанной рукой. В самом деле, не взял ли я на себя слишком много, сумею ли командовать батальоном?

Утром, не выспавшийся и оттого раздосадованный на самого себя, я сошел на перроне в Муроме — здесь предстояла пересадка. Зима, уже начавшая было сдавать позиции, не раз пылившая моросью и хлюпавшая капелью, перешла в контратаку — в поразительно чистом синем небе светило солнце, но дул резкий ледяной ветер, сухой и острый, зернистый снег под каблуками трещал и повизгивал. От нечего делать решил было отоварить продаттестат на три дня, чтобы ехать с запасом, — а сколько пробудем в дороге, никто сказать не мог, — но интенданты были категоричны: у них всего в обрез, если уж так не терпится, могут выдать на сутки. Но ради этого не стоило становиться в очередь.

Зато повезло при пересадке — дали билет в плацкартный купированный вагон. По сравнению с тем, что в октябрьские дни сорок первого из Москвы в Кострому я ехал в вагоне метро (из них была сформирована половина эшелона), да еще в такой тесноте, что не повернуться, это было роскошью. К тому же, как позже оказалось, и народ попался свойский — два лейтенанта, направлявшихся под Ростов-на-Дону, и капитан, державший путь на Тихорецкую.

Лейтенанты, как выяснилось тут же, были совсем зелеными, откуда-то из-под Алма-Аты. Рассказы о бомбежках они слушали, как дети страшную сказку. Капитан же вдоволь хватил лиха — отступал со всякими передрягами из-под Минска, был в жестоких боях на Соловьевой переправе, ранен в зимнем наступлении под Москвой и после лечения направлялся в запасной полк. Он тоже сразу обратил внимание на мою новенькую шинель, спросил с добродушной усмешкой:

— Штабник?

— Нет, — сказал я. — Комбат.

Он засмеялся:

— Тогда променяй свою шинель штабникам. Возьми похуже, с придачей, конечно. Снайперы здорово разбираются в сукне и в покрое!

— Я пока на формирование.

На формировании пофорси, девки шик любят. Но потом все-таки махни. Двойная выгода.

Лейтенанты попросили его рассказать о немцах — какие они, как воюют? Не вообще, это они знают, а вот, скажем, в атаке — поднимаются, идут, частые ли делают перебежки или прут напролом? Правда ли, что при этом засыпают окопы автоматным огнем, головы не поднять? А если в последний момент их забрасывать гранатами?

— Граната всех берет, — смеялся капитан. — Нас, их — какая разница? Дзынь, трах — и ваших нет. Но — нахалюги. И воевать умеют, это себе зарубку сделайте крепко.

— Наступать будем, как думаете?

— Как прикажут... Слушайте, выпить ни у кого нет? Бурячная тоже принимается.

Выпивки ни у кого не было.

— Жаль, — вздохнул капитан. — В госпитале на сухомытку, в дороге тоже.

— На фронте дадут, — сказал я.

— Зимой — может быть, летом — шиш с маслом.

Я пытался втянуть капитана в разговор о тактике мелких подразделений, о роли командира в бою — он отмахнулся:

— На месте виднее, а мозоли на языке — опыту не замена. Главное — рисуй глазами местность, цепляйся за землю и не разводи паники в мыслях. К солдатам приюхайся, которые побоязливее — тех при себе

держи по возможности. На первых порах. Сам-то под огнем землю носом рыл?

— Случалось.

— Тогда знаешь: когда в первый раз припекут, небо с овчинку и душа в пятки. А психанут двое-трое, дело — кислое. Хорошо бы до того боевой пальбой нервишки потренировать, чтоб жу-жу-жу над головой, да танками погрохотать. Жаль — времени нет. Иной новичок своей винтовки боится, глаза жмурит — в запасном полку на учебные стрельбы по одной обойме дают... Э, что это мы антимонии разводим? Пойду поброжу, может, веселые люди найдутся...

Вскоре, совершая разминку в коридоре, я услышал его голос из последнего купе — составила компания для преферанса.

Лейтенанты сидели тихие, вежливые, один читал «Как закалялась сталь», другой какую-то военную брошюрку. Ночью, где-то под Грязями, была короткая бомбежка, безущербная — в снежном поле проблеснуло около десятка красноватых вспышек, донесся отдаленный грохот. Лейтенанты быстро оделись, затянули «сбрую», но в коридор не вышли, смотрели выжидательно. Капитан, вернувшийся около полуночи, посмотрел на них дремными глазами, бросил ни к кому не обращаясь:

— В поле не сигали? Ну и правильно. Что тут, что там — есть разница? Сообразите...

А поезд со дня в ночь все тянулся по бесконечным равнинам и перелескам. Двигались медленно, подолгу стояли на станциях и разъездах. В окнах мелькали вагоны, вагоны, вагоны, среди них — с развороченными крышами и подранные осколками. Становилось теплее, за Харьковом кончились снега, в степи празднично и ярко зеленели озимые, растекались аквамарином вершины садов и дальних рощ. Я вспомнил, как ездил по этой дороге на Кавказ туристом, молодую беззаботность, пестроту и веселый шум перронов, горячий, многообещающий ветер лета, и мне начинало казаться, что с тех пор протекли десятилетия. Теперь на всем лежала печать озабоченности, суровости, самоограничений и ограничений. Иными стали не отдельные люди или группы их, а все, сама народная жизнь, представление о ее ценностях. Нет, не исчезли ни оптимизм, ни вера в конечное торжество, ни шутка, ни смех, но все, все ок-

расилось в другие цвета, потому что жизнь шла по грани трагедии и смерти.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Муром проводил морозом, Армавир встретил теплом, чистым утренним светом, голубым небом с легкими мазками облаков. Я прямо с вокзала направился в штаб, горя желанием немедленно приступить к исполнению обязанностей. Но дежурный майор сказал:

— Рановато прибыл, капитан. Погуляй. Наверное, есть хочешь? Заверни на базар.

— Какие теперь базары!

— Сходи, сходи. Чего судить, не зная?

Пошел. И удивился — много молока, ряженки, белого хлеба. Даже сало есть. Дороговато, это правда, но тут уж ничего не поделать. Накинулся на ряженку, которой не видел без малого год. При белом хлебе — еда для праведников в раю! Сказал одному дяденьке:

— Эх, вашу бы еду под Москву, не говоря уже о Ленинграде.

— А довезешь на чем? Ленинградских детишек, когда привозят, принимаем с душой. Пусть родители не сомневаются — и прокормим, и в обиду не дадим...

В штаб пришел со слипающимися от сытости глазами, но было все еще рановато. Устроился на старом, обшарпанном диванчике в канцелярии, клевал носом. В восемь часов пришли писари, в половине девятого дежурный позвал к себе. Кроме него, в комнате был высокий жилистый капитан с внимательными темно-серыми глазами и удлинненным, но симпатичным лицом. Бросались в глаза руки — тоже темные от загара, крупные, с длинными пальцами, которые постоянно шевелились. Это и был дивизионный инженер Василий Петрович Домикеев, под непосредственным начальством которого мне предстояло служить. После представления он сказал:

— Комбата ждем давно, батальон уже почти укомплектован. Нужно начинать планомерные занятия. По правилам я должен представить тебя командиру дивизии, но его нету, уехал в полк. Значит, потом. А пока двинем в лагерь.

— Двинем? Каким образом?

— Пёхом. Тут километра четыре. Другим и подальше

топать приходится — транспорта у дивизии еще нет. Ни машин, ни коней.

— Пушки на себе таскаете?

— А пушек тоже нет.

— Может, и вместо винтовок палки?

— Ага. В основном. Винтовки, правда, потрепанные, только у часовых при важных объектах.

Я вспомнил ехидное замечание капитана в поезде об одной обойме на учебные стрельбы. Тут и этого не было. Спросил Домикеева — чем же занимаются в батальоне? Он, наверное, понял ход моих мыслей, усмехнулся:

— Хочешь сразу дом под крышу? Сколачиваем подразделение и части, отрабатываем управление. Кирпичик к кирпичику подгоняем. Сто с лишним человек — это еще не рота. Рота — это когда сто с лишним человек быстро действуют по команде, когда они чувствуют себя одним организмом, что ли...

Помолчал. Перешел к делу:

— Заместитель у тебя уже есть, старший лейтенант. Не воевал. Но дело даже не в этом — слишком застенчив. Кофту и юбку надень — невеста! А ведь это при том, что в батальоне немало молодых ребят со сроками. Сидели.

Это настолько неприятно меня поразило, что я даже переспросил:

— Сидели?

— Именно... Большинство по мелким делам, но двое, кажется, за участие в «мокрых». А людей обстрелянных — мало. Из командиров рот лишь один бывал в боях, и то на гражданке. Остальные слыхали звон... Дисциплина в подлинном смысле — зародыш в яйце, пока еще высидится да вылупится. Вот и сейчас будем происшествие разбирать. Подкинули нам трофейный взрыво-запас для занятий, сложили в землянку, учредили пост. А часовой то ли проспал, то ли к девкам стрельнул — полсотни детонаторов украли. А их всего сто пятьдесят.

— Да зачем и кому они нужны?

— А я знаю? Может, рыбу глушить в Кубани, тут сомов много. Может, и хуже для чего.

— Рыбы-то детонаторами не наглушишь.

— Тол достать просто, были б запалы...

Так и течет наша первая беседа. Дорога еще суха после утреннего морозца, ветерок тихий и свежий, пахнет сразу и снегом, и весенней водой. Идти легко и при-

ятно. Разговаривает со мной дивинженер как-то вовсе просто, доверительно, без тени начальственного превосходства и поучительства. Вообще он мне очень нравится — и спокойствием серо-голубоватых глаз, и мужественным лицом, и гвардейским ростом при выправке и подтянутости. Говорят, чтобы узнать человека — надо вместе пуд соли съесть, но бывают случаи полной доверительности с первой встречи. Такая возникла у меня к Домикееву в этот день, и я никогда потом не имел случая в том раскаиваться. Будучи на девяносто процентов уверен, что он кадровый, я все же спросил его об этом.

— Да,— сказал он.— Восьмой год в армии.

— И воевать приходилось?

— Было и это. Хвалиться вот нечем — отступали из-под Львова почти через всю Украину. Два раза с боем прорывались из окружения — командир группы умница был и храбрец. Один раз немцы шесть раз атаковали группу, на тридцать метров подходили. Красные от ярости лица... Все же отбились. Но видел я в начале войны, как целые подразделения, с подсумками, полными патронов, поднимали руки... Противно и страшно... Заорет какой-нибудь слабак: «Окружили!» — и пошло все к черту. Очень уж в первые дни много неразберихи было, разнобоя всякого. А тут еще разведчики и диверсанты сплошь и рядом в нашем обмундировании — много нам их насовали всякими способами... Словом, под огоньком я пообтерся, а вспоминать стану — одно расстройство... Ну да ладно, это дело прошлое. А ты как жил и служил?

Он слушал, не задавая вопросов, заключил: «Доучиваться придется. Тактика, инженерное дело — это одно, а вот люди... Ничего, не боги горшки обжигают».

Лагерь, в котором расположены батальон, химвроты и некоторые другие мелкие подразделения, находится рядом со станцией на берегу Кубани. По одной его стороне тянется насыпь старой, теперь заброшенной железной дороги — в нее врыты землянки, в которых живут рядовые и младший комсостав; по другой, у берега реки, расположены несколько приземистых построек из самана и нечто вроде барака — здесь помещаются штаб, столовая и кухня. Заметна некая игра ума, кое-где прибиты дощечки с надписями: «Толовый переулоч», «Минная улица». Шутят саперы — это уже неплохо!

Представление начсоставу происходит во время обеда в маленькой комнатке барака. Я чувствую себя неско-

лько неловко — как невеста на смотринах. Но — положено, что же тут поделать... Некрашенные, расшатанные и потрескавшиеся столы застланы желтой бумагой, разносолы — ненаваристый суп и каша с запахом консервов.

Присматриваюсь к командирам. Заместитель мой — невысокого роста, плотненький, с круглым розовым лицом. Гладкие яблочные щеки с чистой тонкой кожей то и дело вспыхивают румянцем, хотя и повода для того как будто нет. Мысленно прикидываю, как будет он подавать команду: «Очень прошу вас, товарищи, идти в атаку!». И тут же сам стыжусь собственных мыслей — в детстве не раз слышал, как говорили: «С лица воды не пить, лишь бы ума не купить». С чего это повело меня в физиогномистику? Лицо не выбирают и не приобретают, живут с тем, какое дано при рождении. Бывает, что человек и некрасив по эталонной мерке, а умен, душевен, деловит, добр. Мера человечности — в его деле, а в деле я никогда не видел, значит, и судить рано.

Адъютант старший батальона, Ардатов, начальник штаба — молодой, высокий, с блестящими темными глазами за стеклами очков. Кадровик. Говорит немного, держится уверенно. Исполняющий обязанности комиссара — старший лейтенант, пожилой, с животиком, форма на нем мятая, сидит мешковато. Вероятно, сам чувствует это, и оттого на плохо выбритом лице растерянность и смущение. Отвечает только на вопросы — «Да», «Нет», по собственной инициативе в разговор не вступает.

Ну, вот накоротке я познакомился с теми, с кем мне теперь каждодневно бок о бок жить, действовать, а потом и воевать. Впечатления, ощущения? Ничего определенного, только усиление беспокойства, которое началось еще в поезде, — как все сложится?

Ночевать иду в станицу — там уже подыскали мне постой. Это недалеко, метрах в двухстах от лагеря. Хозяйка — лет за шестьдесят, высокая, широкой кости и сильно поседевшая женщина — одна в большом доме из двух половин. Жили, видать, в достатке, но муж помер, два сына где-то в армии, дочка замужем в городе. Усталая, пригнетенная беспокойством за сыновей, она как-то привычно, даже не пытаясь вызвать сочувствия, сообщает, что кругом у нее неуправка — лошади нет, огород приходится лопатой поднимать, за коровой надо приглядывать, траву серпом жать, куры от дома

отбиваются, дичают. Даже вот и дров наколоть сил нет — они такие, дрова эти, что черт к ним не подступится, ракитовые корчи, выловленные в Кубани.

И первый мой день в качестве командира батальона и начальника лагеря заканчивается тем, что я уже в сумерках колю эти самые корчи. Дело это для меня привычное, сам вырос в деревне. И даже как-то спокойнее на душе становится от работы — поплеывай на руки да потюкивай. Ночью снится, что мне снова двенадцать лет и мы с приятелем, обутые в худые лаптишки, рубим окостеневшие на морозе березки в омшаре под Лопушью. А потом чуть не всю ночь едем домой — мой конь наткнулся на расщепленный пень под снегом, разодрал ногу, истекает кровью. И я с ужасом думаю, что конь можетдохнуть, а это для семьи горе горькое — другого нам не купить, в доме ни копейки, и весной надо пахать...

Встаю на рассвете, когда окна жемчужны от росы и над Кубанью белеет стена тумана. Теперь все мои ночи будут коротки.

Дивинженер В. П. Домикеев знакомит меня с командиром дивизии, комбригом, впоследствии генералом Михаилом Ивановичем Запорожченко. Высокий, стройный, по-спортивному подтянутый. Я даже представить не мог, что ему около пятидесяти и что он служил еще в старой армии!

Он посмотрел на меня голубыми, с зеленым отсветом, пристальными и ироничными глазами, спросил:

— В кадрах служили?

— Нет.

— Откуда звание капитана?

— Кончил инженерные курсы в Костроме.

— Воевали?

— Немного. На финской под Сортавалой, осенью сорок первого под Москвой.

— Страшно?

— Страшно.

— Правильно. Страшно. А кто говорит, что ничего не боится, — либо ненормален, либо лжет. Пижионов не люблю — не верю им... Ну, что же, действуйте...

Я ожидал чего угодно — проверки знаний, советов, наставлений, но не такого нравственно-философского разговора. И был несколько обескуражен — я у него буду воевать, а он доволен тем, что мне страшно под

бомбами. Никакой логики. Но капитан Домикеев по пути в лагерь просветил меня:

— Не ломай голову: комбриг человек оригинальный, у каждого сперва душу старается ощупать. А командирскую проверку он тебе еще устроит — приедет в батальон внезапно, как раз когда не ожидаешь, на штабных учениях вопросами загонит, как шар в бильярдную лузу. На этот случай запомни — лишних слов, жвачки всякой не любит.

НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА...

Шумит вода в Кубани. Вызывающе, монотонно и непрерывно.

Шумит ветер — резкий, стегающий пылью и мусором.

От этого двойного шума никуда не скрыться, закроешь уши — он, кажется, лезет в тебя через кожу. С непривычки раздражает и угнетает. Вроде шершня, бьющегося о стекло. Но шершня, растворив окно, можно выгнать, шум этот — нечем и некуда. Тут, говорят, это часто бывает — на три дня, на шесть, на девять. Погodka!

Но прохладиться и рефлексировать мне некогда, дел по горло. Развертывать военную подготовку по новой, только что полученной программе, с учетом накопленного фронтового опыта, решать сотни мелких вопросов, подписывать десятки бумажек. А штабной работы я совершенно не знаю, никто никогда меня в тайны ее не посвящал. Для меня, журналиста по профессии, особенно раздражительна в ней на первых порах уставная формалистика. Все точно по циркуляру, по штампу — никаких самоинициатив. Разумом понимаю: все именно так и надо, только при таких условиях может быть обеспечена краткость и четкость, конкретность и деловитость, которые составляют сущность армейской жизни. Разумом — понимаю, привыкаю — трудно.

При том осознаю: ни при каких обстоятельствах горачиться мне нельзя. В журналистике это не имеет значения, лишь бы писал хорошо, в деле военном — первостепенное. «Строг, но справедлив и дело знает» — вот высшая аттестация для командира в любом звании,

И суть не в том, что при слабом характере и шумливости будут рассказывать анекдоты,— сочинять и рассказывать будут при всех условиях, так применительно к начальству ведется от века,— а в том, что подчиненные потеряют к тебе всякое доверие, без которого не будет настоящего порядка и дисциплины. Это я усвоил хорошо. И потому с самого начала приходится и налаживать учебу, и самому учиться, заниматься самовоспитанием.

В середине дня иду смотреть полевые занятия взводов. Под наблюдением адъютанта старшего и командира роты отрабатывается тема — минирование перекрестка дорог в тылу противника. Факторы успеха — скрытное выдвижение, согласованность действий, быстрота. Позже, через несколько месяцев, на Дону солдаты взвода получают за это ордена.

Позже... А сейчас, глядя на них, не знаешь — не то смеяться, не то плакать. Для скрытного движения надо переползать по-пластунски. Но пока молодые ребята об этом и понятия не имеют, вихляют на четвереньках, когда «хвост выше головы». Относительно минного поля и его расположения возникает целая дискуссия, в которую ввязывается и командир взвода. Теплый день, подтаивающая земля, все тот же напористый ветер, си́нева предгорья, над которой катится солнце. Оно, солнце, катится, а дело — ни с места.

Вмешивается адъютант старший. В полевой сумке у него методики обучения, графики и расписания занятий — где, когда, кто и что делает. Разговаривает без иронии и начальственного тона, суховато, прямо формулами. Наверное, иначе и нельзя — только несколько солдат старшего возраста молчаливы и деловиты. Молодые же смешливы, шумливы и к занятиям относятся как к безобидной игре. Больше всего их интересует, когда станем стрелять боевыми патронами и рвать настоящие фугасы? Так же настроен и командир второй роты старший лейтенант Борисов, молодой, с пшеничными усами и голубыми глазами, в которых попрыгивают чертики беспричинной веселости. Он покрикивает на бойцов, поторапливает, но, похоже, и сам ко всему относится игриво. Адъютант старший словно бы и не замечает всего этого. Выждав, когда разговоры и шутки чуть утихли, произносит на полном бесстрашии:

— А теперь начнем все сначала! Вопросов нет?

Да, вопросов нет. Сказано просто, буднично, а словно водой остудил. Неплохо бы учесть для себя.

Закончив отработку темы, — минута в минуту! — адъютант старший уходит в другие подразделения, а я, пока взвод отдыхает, разговариваю с Борисовым. Не воевал. Лучше знает инженерное дело, постройку мостов и дорог. Взрывчатку — плохо. Из своих мин теоретическое представление имеет о противотанковых. Пехотных не видел, немецких тоже.

— А как минировать и разминировать будем?

— Ясное дело, товарищ капитан: на фронте в два счета научимся! О чем речь!

— Пока гром не грянет, мужик не перекрестится! А между прочим, он и не крестился бы, если бы с детства приучен не был. Бабка, мамка, батя пример показывали.

— Учтем, товарищ капитан! — подозрительно легко соглашается Борисов. И не без скрытого ехидства, — очевидно, в общих чертах уже знает мою основную профессию — бросает как бы мимоходом: — Вот вы, товарищ капитан, наверное, вдоль и поперек превзошли эту минную и взрывную технику!

Ишь, хитрый какой! — мол, нас учите, а сами тоже в строю без году неделя. Ковырнем-ка на всякий случай... Но я делаю вид, что шпильки не заметил, и рассказываю с некоторой «художественной обработкой», в обрамлении морозов, вьюг, скал и снайперского огня из лесных грив, о финской войне. И в частности о том, как на полпути из Питкяранты в Салмин нас несколько часов под снайперским огнем продержал наспех сделанный завал. Около ста машин с тысячей раненых окоченевали перед двумя сваленными на дорогу соснами, в которые финны сунули с пяток мин. Он слушает с неподдельным интересом, потом, видно по глазам, с внутренним напряжением, с примеркой на себя. В конце ерошит светло-русый чуб:

— Вот черти, а? Подумать только... Рассказали бы как-нибудь бойцам в роте, товарищ капитан.

— Выпадет случай — расскажу...

Сожалею, что ни о финской, ни об этой войне нет еще хорошей, правдивой литературы с впечатляющими картинками сражений и точностью деталей. Есть великолепные книги о революции и гражданской войне, они вдохновляют, рождают жажду подвига. Но не та те-

перь война, да, пожалуй, не та и психология. Там были кони, сабли, тачанки. Рванул ворот — и в штыки. Теперь до штыковой дорваться не просто. В небе и на земле гудит, скрежещет, воет железо, ревут пушки и минометы, к дроби пулеметов присоединилась трескотня автоматов. Перед атакой снаряды перепахивают окопы, во время атаки автоматный огонь метет землю на брустверах. И тут нужны храбрость, порыв, но в первую очередь — выдержка, понимание того, что происходит вокруг, взаимодействие бойца с бойцом, подразделения с подразделением, связь, управление. Одно из преимуществ у немцев то, что их войска приобрели опыт в боях на Западе, что весь механизм отработанный, отлаженный...

О литературе — сам домыслил, когда правил финские записки, — они погибли в типографии в Смоленске; о разнице между гражданской и нынешней войной говорил на курсах преподаватель подрывного дела. На перекуре во время практических занятий. Был зимний день, заснеженный лес, смолистый запах только что сбитой толовой шашкой сосны с расщепленным комлем и вопросы — ответы...

Я в роте у старшего лейтенанта Бабушкина. Пожилой, уравновешенный, высокий и крепкой кости. Воювал еще во время гражданской войны на юге, сбежал на фронт мальчишкой. Темно-голубые глаза под густыми бровями спокойны, мудры крестьянской пристальностью. Руки крепкие, темные — я так и представляю его в сельской кузнице, где гудит и раскаленно пылают горн, стучит молоток о наковальню, а в углах свалены старые лемехи и отвалы, косы с порванными полотнами и треснувшими «пятками», серпы без ручек, болты, подковы, полосы рыжего железа. Но он не кузнец, служил в учреждении. Говорит он и приказывает, не повышая голоса, но слушают его неукоснительно. Он, пожалуй, уже определился, утвердил в роте свой авторитет, и дела у него пойдут.

О командирах взводов пока у меня определенного впечатления не складывается — все молодые, характерами пестроваты, боевого опыта нет. Надо будет присмотреться повнимательнее, от них будет зависеть многое. В саперном батальоне не только роты, но и взводы, и отделения сплошь и рядом вынуждены действо-

вать самостоятельно — об этом мне также рассказывали опытные люди еще в Костроме.

Так в хлопотах, которые кажутся мелкими, ничего не решающими, и проходит день. А когда затемно, усталый, с красным обветренным лицом, прихожу на постой, застаю капитана Домикеева — у него наладилась беседа с хозяйкой, толкуют о войне, об осиротевшей земле — весна вон пришла в степь, пахать, сеять зовет. А как пахать и сеять? В станицах остались женщины, старики, дети — маломощная сила. Тракторы пушки на фронт возят, лошадей — наперечет...

Мне Домикеев говорит:

— У тебя переночую. Не возражаешь? В городе по семьям квартируем, я у многодетных — шумно.

Достаёт бутылку портвейна, ставит на стол, фыркает:

— Не питье, а причастие! Если теплой водички добавить. Но ничего больше достать не смог, а посидеть нам надо. Слышал краем уха — высшее начальство торопит с формированием, как бы на фронт не загромыхать внезапно.

Под чай засиделись. Домикеев озабоченно:

— Что на фронт попадем — нормально. Опасно — попадем недоученными, на затычку какого-либо прорыва. Мало того, что у немцев техники побольше, они сами в бою — машина. Чтобы остановить, храбрости мало, нужна сноровка, умение владеть оружием в зависимости от обстоятельств, чувство плеча, взаимодействие. На себе испытал — как в могилу поглядел, вспомню — сон бежит... Давай ближе к делу — нагляди на Урупе чашу с чертоломней зарослей, потренируй на инженерную разведку. Ситуацию с переправами проиграть надо. На войне это — пекло для самых грешных душ, а нам там первыми быть... Кстати, о грехах — как твои орлы с местным населением обходятся? В смысле баб и девок?

— А что, сигналы есть?

— Зачем сигналов ждать? На примете держи. Народ у тебя в основном молодой, соком играет, а кругом безмужних и безухажерных много. На фронте будет легче, не до жиру, быть бы живу, тут — гляди в оба. Не думай, что ханжествую, и ты не поп, и я не архимандрит, и дело человеческое — все верно. Но голов скручивать не давай, тут до беды шаг один. Не мое это дело, на то политорганы есть, но думаю — побыстрее

надо ставить партийную и комсомольскую работу. Сам ты ведь не коммунист? Жаль.

— Все казалось — не созрел.

— Ладно, созревай, тебе виднее. К временному своему комиссару присмотрелся, по душам побалакали?

— Откровенно — не получилось. На живое слово скуп, все больше цитатами из инструкций загораживает. Но тут я ему не судья. А как человек — неплохой.

— Что значит — неплохой? Добру учит, пряники раздает, по головке гладит? В политотделе сказали, что его вернут политруком во вторую роту, нового комиссара со дня на день ожидай. Кстати, как сам стреляешь?

— Из винтовки — хорошо. То же из ручного пулемета. Хвалили. Из пистолета — неуверенно.

— Будут стрельбы — покажи класс, притом именно из винтовки. Хороший пойдет разговор в батальоне! А пистолет — для боя в упор, при штыковой, скажем, или в окопах. Хотя я с восьмидесяти шагов сбиваю горлышко бутылки. Насобачился на трофейном парабеллуме, главное — патроны даровые. Как в батальоне с харчами?

— Что другим, то и нам — не густо, не пусто. Получили котлы, устроили навес, соорудили кухню, столовую. Сам — там же, как все.

— За харчем следи... Пробу старшина снимает, но иногда и ты свою ложку туда же — меньше всякого трепача будет. Завтра тебе помпомат представится, приехал из Лабинской. Старшина из второй роты, если не ошибаюсь, — орел, из первой тоже ничего. Но помощник по материальному обеспечению — великое дело! Иногда ведь разузнать надо, где что лежит и когда что будет, добыть хоть и праведно, однако ж не без хитростей... Армия, паек — все так, но и люди есть люди. У неразворотливых, говорят, что ни на стол, то и недосол. Щи, как щи, а мяса не ищи...

Так и проговорили до полуночи. О том о сем, как бы случайно перескакивая с предмета на предмет. И только через день или два я понял, насколько важен и полезен был для меня этот разговор. Не знаю, ставил такую задачу дивинженер или нет, но он как бы привел меня на некую высотку и заставил обозреть местность вокруг — где что находится, какое значение имеет само по себе и в связи со всем другим одновременно.

Хорошо, когда в начале нелегкого пути находится человек, который ненавязчиво и доверительно такой урок может преподать! Я считал, что мне очень повезло.

«МЕСТНОСТЬ НЕ ПОДХОДИТ»

Три дня отведено на занятия по теме «Мосты». Как их взрывать и строить.

Взрывать — условно — научились быстро. Правда, не только без взрывчатки, но и без электромашинок, которых нет, и без детонирующего шнура. Это, как не крути, из рук вон плохо: хлопки детонаторов и медлительная возня с бикфордовым шнуром еще далеко не решают вопроса. Электромашинка и детонирующий шнур работают эффектно и дают выбор вариантов.

Значит, научились быстро, но неполноценно. А словесные «портреты» и лекции практики не заменяют.

И еще беспокойство — слишком легковесное отношение к детонаторам. Знают, что если взорвется детонатор при неумелом обжиге, отхватит несколько пальцев — не о чем говорить! И потому обжимают детонатор небрежно, как и чем попало, даже зубами. Результаты могут быть скверными — при плохом обжиге бикфордов шнур не сработает и взрыва не будет, при взрыве детонатора, если отхватит несколько пальцев, солдат выбывает из строя в госпиталь — потеря для батальона, для части. Скверное ЧП! Поэтому в каждой роте провожу по одному занятию сам, с рассказом и показом — в Костроме нас учили всерьез и теперь вот как пригодилось! И нахожу неожиданную помощь — командир взвода Казаков достал где-то длинные не то жестяные, не то алюминиевые трубки, схожие примерно по диаметру с детонаторами, порезал их на куски и обжим практикует на них, строго контролируя. И безопасно, и тренировка.

Рассказываю об этом дивинженеру Домикееву. Тот доволен:

— Орел этот Казаков, суть уловил. В армии думать, конечно, надо, на то голова к плечам приторочена, но многое надо выполнять быстро, сноровисто, автоматически. Сто раз одно сделал, на сто первый руки сами знают, что надо... Анекдот про сороконожку знаешь?

Ну, как ее спросили, с какой ноги она идти начинает, а она задумалась и ни с места?.. То-то и оно. Так что казавщине давай ход, где только можно...

И вдруг круто повернул разговор:

— Рвать мосты — это что... Уж столько подорванных позади. А вот строить бы научиться! Стрелковый полк собирается проводить учения, придет комдив. Соорудил бы мост на Урупе...

Уруп — река небольшая, метров двенадцать—пятнадцать шириной. Идет с гор, в каменистых бережках, заросших лесом и кустарником. Говорят, вода холодная в ней даже летом — снеговица, — а сейчас прямо-таки жжется. И быстрая, шипит, как нарзан. Теоретическое руководство взял на себя я, практическое — Борисов.

— Отгрохаем свайный, — предложил он. — Чтоб хоть и танки пускать — давай, кати! Лес — вот он, орлы не подведут.

Я, поддавшись его залихватскому оптимизму, согласился и — опозорился вместе с ним.

Разъяснили задачу, дали команду — раз, два, взяли!.. Ничего не взяли... Сваи надо забивать копром, для копра необходимо минимум самодельное сооружение, блок, канат. А у нас лишь топоры да пилы. Обухом сваи не загонишь даже в ил. И началась долгая волянка по сооружению козел и ручной «бабы». А когда все было готово и осталось только затянуть «Эй, дубинушка, ухнем!», оказалось, что на дне речки под тонким слоем песка крупные камни и «ухать» можно до скончания века.

Говорю Борисову:

— Наши в Берлин придут, Гитлера повесят, а мы все этот мост будем строить. Так?

— Местность не подходит, — без особого смущения оправдывается Борисов. — Да и зачем нам на таких речках мосты строить? На каждом повороте — брод.

— А вот скоро пехота подойдет — что будем делать? Купать в ледяной воде? Они уж выскажутся...

— Давайте на рамах сделаем. Это наверняка...

Сбили рамы, а поставить невозможно — скользят, разъезжаются, кособочатся, заваливаются. Сбросив обмундирование, в воду лезет тридцатилетний солдат Мокринский, один из наших старичков. Руки у него золотые, характер веселый, крестьянская закваска — за что

ни взялся, сделай до конца. Его отговаривают, он — смеется:

— Я водолюб. Хуже утки!

— Закоченеешь.

— Ну да! В предгорьях вырос, отродясь в таких речках купаюсь. Это вы, равнинники, мерзляками росли...

Замечено, смелые действия всегда находят последователей. За Мокринским лезут в воду еще несколько человек, расчищают от крупных камней место для рамных опор, и две из них, от левого берега, удастся поставить. Горячка, нервозность, кто-то крепко выругался. И тогда с левого берега, поросшего леском, раздался спокойный голос:

— Если бы брань заменяла сваи, то и саперы не нужны были бы...

Это был комбриг. Оказывается, он незаметно подошел с дивинженером и наблюдал нашу возню. Я, как положено, выскочил на берег, доложил: так и так, забивать сваи нельзя, рамы сносит, тяжелые условия... Он слушал молча, чуть прищурив глаза, по окончании доклада подошел к саперам, поздоровался, сделал вид, что огорчен:

— Собирался вот переправиться по вашему мосту, а вижу — придется поискать броду. А? Ничего не поделать.

Инженер, выручая нас, стал объяснять, что действительно и речка особая, и навыка еще нет, и с инструментом плохо, только топоры да пилы...

— Да я что? — усмехнулся комбриг. — Я сознательный, понимаю. А вот командир полка пришлет батальон на переправу — вот весело будет! Особенно, если самолеты немецкие налетят.

Уходя, посоветовал:

— Вы без паники; паника — противнику помощник. Решили поставить на своем и поставьте. Договорились?..

Тем и кончилось. И это удивило меня — немногословие, спокойствие, ирония. Я знал командиров, которые в подобных обстоятельствах и «обложили» бы, и пригрозили, и сто советов надавали. И мы повесили бы носы и нервничали бы еще больше. А он рассчитывал на наш здравый смысл, на то, что мы и сами хотим сделать все как можно лучше, да еще не умеем. И то, что он только пошутил, что поверил в нас, было наилучшим поощрением...

Работали молча, с каким-то остервенением. К вечеру поставили. Дивинженеру доложил:

— Мост готов, надо будет — посылайте завтра пехоту.

— Завтра здесь пехоты не будет...

Дорого яичко ко христову дню... Но и хорошо, что пехоты не было. Утром глазам своим не верим: за ночь на метр прибыла вода, настил горбатит, выперло средний пролет, одна опора перекошена и продолжает заваливаться. Ни ходить, ни тем более ездить. Дивинженер посмеивается:

— Не переживай... Синяков не набьешь — ходить не научишься. Я лично доволен, что все так именно получилось. Урок! Ставь новую задачу — мост разрушен противником, восстановить, срок исполнения...

Придет время, и наш батальон организует уникальную, как выяснилось впоследствии, единственную такую за всю войну переправу — при форсировании Дона в 1942 году. Переправу, спасшую сотни жизней и обеспечившую быстрый захват плацдарма, с которого позже начиналось окружение сталинградской группировки немцев. Но об этом позже. А пока не везло снова и снова.

Этот мостик мы починили. Но был он плох и никому не понадобился. Стоял укором нам.

Тем, однако, не кончилось.

Получили комплект понтончиков ТЗИ для штурмового мостика. Длина его — четырнадцать метров, немного, но, если верить инструкции, для переправы через малые реки отдельных подразделений ничего лучше не бывает. Понтончики изящны, крепятся друг к другу просто, в сборе все компактно — на одной машине помещаются. Борисов, которому поручено провести установку, весь вечер тщательно изучает инструкцию, утром заявляет:

— Детская забава, товарищ капитан! Поставим — раз плюнуть.

Место выбрали поближе к устью реки — тут поглубже, течение вроде поровнее. Понтоны сносят на воду, стыкуют у берега, чтобы потом развернуть по течению и заякорить на берегу противоположном. Сборка идет быстро, мостик выглядит как на картинке. Кажется, еще час работы — и все, можно топать в лагерь. Но в тот момент, когда подвигаемый течением мостик становится поперек реки и конец его закрепляется, один из пон-

тончиков ныряет носом под воду, за ним второй и третий, крепления трещат и полотно от середины скручивается штопором. Это настолько неожиданно, что мы несколько минут только стоим в недоумении и смотрим. Спрашиваю у Борисова:

— Что, опять местность не подходит, старший лейтенант?

— Поспешили малость, — смущается он. — Сейчас сделаем.

Делаем. Раз, два, пять. Час, второй, третий. Наконец до нас доходит, что «местность» действительно не та, — еще раз проштудировав инструкцию тут же на берегу, обращаем внимание на маленькую «деталь»: такие мостики наводятся три течения 0,8 метра в секунду, а у нас два с половиной. И все же решаем перехитрить этот чертов Уруп — не на тех напал! В кузнице нашей заказываем прочные крючья, через реку предварительно натягиваем канат, чтобы нанизывать на него понтончики как бублики на шпагат. И все вроде получается — мостик нанизан на канате, красивый, стройный.словно бы заывает: «Я готов, ребята, сыпь на ту сторону!»

Но когда по мостику побежали бойцы, один из понтончиков снова зарывается в воду — и:

— Караул, ратуйте!

— Братцы, помогите!

Потери и убытки — оборванные сцепления, разогнутые крючья, один выбитый зуб, около дюжины синяков, пропавшая пилотка и мокрое обмундирование. Доложив инженеру, что и как было, говорю:

— Если будете давать такие мостики на войне, до того, как заводить, прыгну сам в воду и не выплыву... Они годны разве на стоячей воде в неглубокой протоке. И не под обстрелом, а в глубоком тылу. При условии, что ходить будут на цыпочках. Лучше всего — если одни балерины...

Дивинженер смеется:

— Там и за такие спасибо скажешь... Мост мостом, а на понтончиках и без него плыть можно...

Еще через два дня мостик от нас забрали, — наверное, для испытания нервов в каком-нибудь другом батальоне. Мы ни одного задания по переправам удовлетворительно не выполнили, и во мне, как заноза, поселилось чувство своеобразной «водобоязни». Чем же это все обернется там?

В штабе решили провести полевые учения частей — сделать дивизии «первую примерку». Я готовился к ним с обостренным интересом — наконец-то у меня появилась возможность увидеть, как осуществляется управление войсками на практике, в полевых условиях. Полагал, что весьма полезными будут они и для всего состава батальона, от командиров до солдат, — одно дело, когда мы жили и занимались в основном сами по себе, в сторонке, и другое дело почувствовать себя частью сложного механизма. Хотелось мне предварительно поговорить с дивизионным инженером, но, к сожалению, не удалось, он был занят в штабе вместе с оперативниками.

Уходили на рассвете. Над лагерем плотный, розовато подсвеченный туман, деревья увешаны росами. Солдаты пели песню о сапёре, но вяло — охрип и еще не отошел главный запевала Юрченко. Вот голос бог дал этому восемнадцатилетнему парню — поет, как воду льет! Подолгу и без малейших признаков усталости, как бы исключительно в собственное удовольствие. А с виду — обычный, среднего роста, щупловатый, после войны собирается учиться в агрономическом техникуме. Будет ли у него это «после войны»? Он, кажется, об этой стороне дела не очень задумывается — вообще я заметил, что молодые, быть может, от избытка сил, больше думают о сегодня, чем о завтра.

На восходе солнца вышли к озеру. Туман потянулся вверх, обнажая утёсы на берегу Урупа и предгорья на берегу Кубани. Красивое до чертиков утро, песня и дружный строй создают ощущение некоей праздничности, приподнятости, словно впереди целый день отдыха, развлечений и приятных бесед. Но уже спустя полчаса прямо с марша ставится задача на инженерную разведку и боевые действия — выслеживать, разминировать, минировать, разрушать. И природа как бы перестает существовать в своей извечности и неповторимости прекрасного — мы видим только броды, переправы, противотанковые препятствия. И я ловлю себя на мысли: видимо, война настраивает психику узко однолинейно и странным образом искажает картину мира.

Командир второй роты Борисов послал двух солдат — Серова и Галушку — в разведку к мосту со стро-

гим внушением: «Все как на войне!». Серов ростом мал, но характером серьезен, сосредоточен, Галушка роста среднего, телом «плотен и весóm», на слова скуп, в действиях медлителен. Казалось бы, неплохое сочетание, а ничего хорошего не вышло. Командир первой роты старший лейтенант Бабушкин, человек опытный, действуя за противника, расставил на подступах секреты и у моста замаскированную охрану. Мне захотелось и самому проследить действия «разведчиков» — презабавная вышла картина: «разведчики» перли лесом напрямик, шум и треск — при небольшом ветре за сто метров слышать. О возможности «секретов» они позабыли, хотя говорилось о том во время учений не раз; не заметив часовых, решили, что противник забыл их поставить...

Результат — сидят «в плену» молчаливые, нахохленные, как вороны под дождем. У Борисова глаза злые, кажется, готов взорваться безоглядной руганью — уж он ли не инструктировал, он ли не надеялся, а вот подвели... Бабушкин пошучивает:

— Я сети расставлял, думал, рыба будет... А тут мальки, которых ребятишки голыми руками берут...

Я молчу — к чему тут слова? А на душе кошки скребут — господи, ну и зеленые мы еще! А что как приказ об отправке на фронт?..

Такие вот для начала дела.

Поступают новые приказы. Ногам покоя нет.

Наступает ночь.

Беру у своих хозяйственников велосипед и еду на поиски второй роты, от которой с полудня нет никаких донесений. Где она, чем занимается? Возле моста, который нами условно «разрушен» еще днем, наталкиваясь на командира дивизионной разведки с группой бойцов.

— Ну, и как дела на войне? — спрашиваю.

— Плохо, капитан. С утра не ели.

— Так вы же в разведке. Терпите.

— Да уже не в разведке! Задание, которое давали утром, выполнили, а нового нету и не знаем, у кого получить. Пошлите нам кухню, если встретите, а?

— Если встречу — попытаюсь послать. А где, по-вашему, саперы?

— Кажется, в леске около Кубани.

— А штаб дивизии?

— Да вроде бы в станице.

— «Кажется», «вроде бы»... Пропадет дивизия в такой разведкой!

— Так это ж учения, на войне все по-другому будет...

Который раз встречаюсь я с этим «на войне по-другому»! Дурацкая философия — «не делай сегодня того, что можно сделать послезавтра». Лень, недостаток воображения комкают учебные программы, рвут нервы командирам из тех, что уже хватили горячего до слез. Может быть, и я был бы таким же, если бы не уроки первой финской — «зимней войны», как именуют ее сами финны, — не пожары, разрушения, слезы и кровь Смоленска, не переделки под Москвой? Не зря и говорится, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Направляюсь в штаб дивизии с надеждой «взять интервью» у капитана Домикеева. Хорошая гравийная дорога на станицу Убежинскую словно вымерла — ни одной живой души. Только в лунном свете — сама луна, малость дымная, дремная, словно не выпалась за день, — похожие на призраки маячат на курганах дозоры. Мне вспоминаются исторические романы, «Слово о полку Игореве», татарское нашествие — там этот курганный антураж сплошь и рядом. Но что делают на курганах дозоры сейчас, кого они там видят и стерегут? Непонятно совершенно. Вернее всего, что выставляют напоказ самих себя, так как на фоне белесого неба еще можно рассмотреть что-либо, а степь стелется дымным маревом, подходи незамеченным вплотную и снимай эти «силуэты». И сколько тут курганов — маленькие, приземистые, побольше, влево и вправо, впереди и позади. У одного из них машина комдива, но самого его нету. Спрашиваю у шофера о штабе.

— Говорят, что недалеко.

— А как проехать?

— Да прямо вон на тот курган — видите?

Собственно, видится какое-то марево, но еду. Штаба тут нет, только оперативная группа. Стрекочут, как цикады, несколько мотоциклов. В приземистой мазанке под курганом медно-красные от солнца и с красными от ветра и пыли глазами командиры. Заняты своими делами, которые, судя по всему, похожи на спутанный кош-кой клубок. Мне отвечают кратко:

— Штаб? С двадцати четырех у большого кургана.

— А где он, большой?

— Ориентируйся...

Это, конечно, чистейшая отговорка с неким ехидным уколом — я могу, и то лишь при помощи луны, примерно определить, где север и юг, а привязаться по карте к местности без единого характерного предмета в поле зрения не смог бы и сам бог. Так у меня и карты нет. Бреду наугад, «в общем верном направлении». Ехать на велосипеде боюсь, тут ямы и рытвины, попадешь — не только колесо можно перекрутить восьмеркой, а и голову. Таким образом, я уплачиваю мою задолженность велосипеду — днем возил он меня, теперь я его. Уже двадцать четыре часа, но у «большого кургана», который предположительно должен быть тем самым, ни живой души, кроме, быть может, спящих сусликов. Снова и снова брожу я по степи, но, похоже, кручусь на месте, замороженный дымным лунным маревом. И уже совсем случайно, ни на какие встречи не надеясь, натыкаюсь на нашу кухню второй роты. Старшина спит, повар тоже. Лошади лениво похрустывают сеном. Покуривает группа давным-давно заблудившихся и теперь вовсе не знающих, что делать, связанных из штаба.

— Где рота? — спрашиваю.

Старшина, плохо соображающий спросонья, чуть не плачет:

— Весь день ездим, ищем... Суп надоело подогреть.

При упоминании о супе рот у меня наполняется слюной — с утра крошки во рту не было.

— Может, покормите?

Наскоро обедаю и ужинаю в один присест. Суп явно остывает и становится «некондиционным». Узнаю из расспросов, что за день все всех растеряли: исполняющий обязанности комиссара батальона должен был находиться при роте, но каким-то образом отбился от нее, говорят, ушел в штаб полка; ушел и не вернулся перед вечером мой заместитель. Связь? Связь только пешедралом, на своих двоих — в полках, наверное, еще есть по телефонной «нитке», у нас же, на батальонном уровне, ничего. Да и штабы, и командиры «пешеходные», у меня вот еще велосипед, а у других и того нет.

Решаю — чем супу пропадать зря, пусть кухня едет кормить хотя бы разведчиков и там пока остается. Бой-

цы, быть может, и ничего не скажут, но в душе не простят Борисову, что оставил их голодными. Тем хуже для него, впредь будет беречь «пищевую», как родную маму. Оставив при кухне велосипед, опять отправляюсь на поиски штаба дивизии, но натываюсь только на «словесный» след штаба полка — говорят, в Вольной. Улица, вторая, пятая, шатаюсь меж дворов, как подгулявший Каленик из гоголевской «Майской ночи», но — как сквозь землю провалилось все! Наконец, повезло — на окраине станицы, в садике, за которым начинается степь, обнаруживаю... не штаб, а медсанбат. Под цветущим абрикосом превосходная палатка, внутри горит керосиновая лампа, девушки дремлют, но при моем появлении некоторые первым делом пускают в ход маленькие зеркальца и расчески. Прошу попить, но предлагают умыться:

— Снимите маску... На вас пылищи!

Сестрички и врачи молоденькие, милые, жизнерадостные, судя по всему, уже отоспались и готовы болтать и пересмешничать до утра.

— А кто за ранеными ухаживать будет?

— Так они у нас условные!

Молоденькая черноволосая и черноглазая сестра, очень красивая, но еще с каким-то детским выражением лица, уговаривает:

— Оставайтесь с нами, чего по степи зря бродить. Страшно нам тут одним.

— Страшно — чего?

— А вдруг волк?

— Так у вас свой начальник есть.

— Он у нас пожилой и давно спит.

Это для них он «пожилой», ему нет и сорока.

Оно бы и чего лучше — остаться. Но — нельзя, не дает мне покоя пропавшая рота. Учения, верно, «первая примерка», но порядок есть порядок. По кустам, по рытвинам, через фруктовые сады выбираюсь к леску на Кубани. Попадаю к минометчикам — большинство из них спят, некоторые разводят тары-бары, покуривая в рукава.

— Саперов не видели, — говорят. — Связистов видели.

— Проводите меня, а?

— Можно...

Связисты в низкорослой рощице повально спят. Даже часовых не выставили. Да и отчего бы не спать? —

никакой реальной связи, ни одного телефонного аппарата и мотка провода у них нет, а из штаба ни слуху ни духу. Саперов они не видели, но кто-то говорил, что находятся они возле штаба полка.

Ведет меня туда посыльный. Командный пункт полка никак не оборудован, даже лопатой ни разу не копнули — ни блиндажа, ни землянки, ни даже щелей. «Примерка» на живую нитку! Просто расположились в маленьком старом, венца на четыре, срубе на дне глубокой ямы. Как попал туда сруб, для чего он тут — сообразить не могу. В стороне под яблоньками дотлевают костер — светомаскировка, что называется!

Заспанный старший лейтенант сообщает:

— Только что были, с час назад, ваш заместитель и военком, но уже ушли. Если не ошибаюсь, к минометчикам.

Чего же ради колесил я чуть не всю ночь в степи под окаянной луной между призрачными курганами? Чтобы теперь начинать все сначала? И какой толк от учения, когда ночью начинается мистика исчезновения подразделений и частей со штабами вместе? А впрочем, так ли уж я прав в своем скепсисе, — может быть, сами эти недоразумения так же нужны, так же прибавляют опыта и ума-разума? Может быть, учитывая прошлое, штабы впредь будут больше заботиться о точности приказов и выборе ясных ориентиров?

Под эти мысли и засыпаю.

Новый день начинается тусклым, серым, как полая вода, рассветом. Меня находит и будит наш связной Кочубей, загорелый стеснительный здоровяк, ведет в штаб полка, при котором находится мой заместитель.

— А вторая рота где?

— Не знаем.

— Ты что, сын или родственник того Кочубея?

— Нет.

— Из какой станицы?

— Егорлыкской.

— Ну, как тебе нравится эта война?

— Да какая это война, товарищ капитан! Ходим, ходим, а все без толку. Не бомбят, не стреляют. Только есть и спать хочется.

— А если бы бомбили и стреляли?

— Ого, как зайцы сигналы бы!

Пожалуй, что и верно. Фактор «ненастоящности», от-

существование реальной опасности и особенно оружия — на весь батальон ни одной винтовки, ни одного пистолета! — никакими теориями не заменишь. Тренируем мускулы, в некоторой степени обретаем разумные и элементарные навыки, и только.

Командир полка майор Велиховский спит на земле, у бруствера маленького окопчика. Вокруг, куда ни глянешь, на редкой и еще невысокой траве вповалку солдаты, солдаты. Через полтора часа по графику, если его ночью не изменили, должно начаться наступление, а тут сплошное сонное царство и вокруг пустые, без единого человека, высоты. Однако часовые возле штаба действуют, зловеще шипят: «Пароль!». Это уже, слава тебе господи, хоть некоторый порядок.

Велиховского мне будить жалко, тоже намотался небось. Возвращаемся к разведчикам, где должна быть кухня. Спрашиваю у заместителя, как потерял он роту, но он и сам толком понять не может — отошел к штабу полка, чтобы выяснить обстановку, и заблудился. По пути к разведчикам нас настигает дождь — шумный, злой, жалящий. Щегольская моя шинель становится тяжелой — переложили ваты, черти! — обвисает и украшается разводами черноземной грязи. Ну и черт с ней. Из-за дождя опять становится темно, хотя, если судить по времени, вот-вот должно взойти солнце, а вместе с тем начаться наступление. Кочубей уходит вперед «на разведку», я в одиночестве снова блуждаю по фруктовому саду и когда уже решаю, что до рассвета никого не найти, возвращается Кочубей:

— Приказание выполнено, командир второй роты и военком ждут вас!

Гм, ждут... Тоже мне формулировочка... Но я пропускаю ее мимо ушей, не до официальности. Они и в самом деле ждут в окопе, отрытом минометчиками, — минометов-то у них нет, ставить нечего, чего же месту зря пропадать! И хорошо, с удобствами ждут, укрывшись от дождя большим брезентом. В удовлетворении от того, что цели своей добился и роту отыскал, пристраиваюсь к ним, угреваюсь под шум дождя и... засыпаю.

«Наступления» так и не видел. После майор Велиховский, человек общительный, рассказывал:

— Ну, как наступали? Плелись по грязи, словно мертвого на погост волокли, — степь под дождем так раз-

везло, что и ног не вытянуть. Пришли к рубежу, где должен «противник» находиться, затащили вразнобой «Уря-я!», а там никого нет. Опоздал наш «противник».

— А если на фронт внезапно?

— Что ты! Сырые еще мы.

Так же в категорической форме оценил «первую примерку» и командир дивизии комбриг Запорожченко. Досталось на орехи всем, мне в том числе. Я же, как положено, «просвещал» командный состав батальона, особенно влетело Борисову за то, что даже кухню потерял и оставил роту голодной. После совещания он сказал:

— Все верно, товарищ капитан, правильно причесываете. А только опять же на фронте всякое может быть — вдруг кухню разбомбят? Так что пусть приывают...

Забегая вперед, могу сказать — и бывало. При переходе через Дон в декабре 1942 года около хутора Еринского кухня роты нырнула в полынью. Рассветные сумерки, снежок — не разберешь, где какой лед. Лошадей вытащили сразу, кухню к вечеру. Но до полуночи, пока шел бой, обходились сухариками, если кто припас в кармане шинели или полушубка... А потом в феврале и на Донце, при наступлении на Ворошиловград, кухню «фрицы попортили» пулеметной очередью. Тоже пережили.

Да, всякое может случиться. Одного не должно быть — потерь от расхлябанности, беспорядка. Но как этого добиться?

...ДОБРУ МОЛОДЦУ УРОК

Когда вернулись в лагерь, я все пережевывал и переживал историю блужданий на учениях, маялся мрачным выводом — от такой науки ничего, кроме муки. Ведь что получалось? Кто в лес, кто по дрова. Где уж говорить о целесообразности и единстве действий, когда и друг друга найти не могли! Но когда я рассказал о своих впечатлениях дивинженеру Домикееву, он хмыкнул:

— Зеленые мы, говоришь? Отчасти верно. А для начала зелен оказался ты сам.

— Это почему же?

— Потому... Конечно, учения примерочные, а значит, со строгой точки зрения, и неполноценны, кто спорит. К тому же ни оружия, ни связи, ни транспорта — все это в свой срок. Но ведь тебя блуждание заело в первую очередь, так?

— Так.

— Очень даже хорошо, на всю жизнь запомнишь — и ты, и твои соблуждальщики. И ради одного этого стоило учения проводить.

— Не понимаю...

— А все просто... На первом этапе, с разведкой и попыткой захвата моста, в батальоне у тебя был ляп — люди не умеют вести разведку. Хороший урок получили! Повторится? Вряд ли. На следующий этап ты сам и командиры других батальонов вышли пижонами — «единым махом всех побивахом»! Что такое ориентировка на местности и хождение по азимуту, знаешь?

— Знаю. Не только по училищу — я в свое время изучал геодезию. Гидротехник все же.

— Там — изучал, тут — позабыл. А я тебе и командиры полков другим комбатам не напомнили — специально решили проверить ваше командирское мышление. Я ставил тебе задачу, ты как будто все понимал. А карту или хотя бы схему ты у меня попросил? Нет. Будь у тебя карта или схема, с компасом и электрическим фонариком, ты бы и ночью попадал туда, куда надо. Неправда разве?

Я быстро прикинул и покраснел. Домикеев этого, похожему и к моему облегчению, не заметил — мы сидели в маленькой штабной комнатке батальона, уже спустились сумерки, а огня не зажигали. Да, ни карты, ни схемы я не попросил, считал, что все держу в голове или обойдусь расспросами. Правда, карт необходимых масштабов на всех не было, но ведь схему-то я для своих действий мог сам сделать!

— Вот и вывод, — заключил Домикеев. — А говоришь, пользы нет! Карта, компас, часы, приказ — командирский боекомплект, без которого шагу не сделать...

Эту мысль я мог бы дополнить еще одним соображением, но оно родилось из опыта позже. Суть — имея на руках подробную карту, надо всегда уточнять на месте главные ориентиры. Один комбат во время наступления через донскую излучину таким ориентиром в станице, которую ему надо было взять, определил церковь.

А что? На карте есть, в натуре не проглядишь. Шли как будто верно, увидели заштрихованную метелью станицу, а церкви — нету. Стали совещаться — та или не та, может, заблудились? Послали разведку, выяснили — станица та самая, противника уже нет, последние солдаты ушли с час назад. А что же церковь? Она была старая, немцы ее взорвали, чтобы не маячила ориентиром для самолетов. Если бы комбат порасспросил в хуторе, из которого выходил, — а там знали, — и гадать не пришлось бы.

В еще худшую историю попал я, когда в феврале 1943 года наступали на Ворошиловград, — чуть не погубил людей и не погиб сам. Из штаба дивизии получил приказ — прибыть с одной ротой на командный пункт командира дивизии неподалеку от ворошиловградского аэродрома, двигаться по краю посадки. Я просмотрел маршрут по карте-двухверстке, подозвал семнадцатилетнего сына хозяйки, в доме которой располагался наш штаб, спросил его:

— Доведешь нас до края посадки?

— Нельзя, — сказал он. — Там немцы.

— Какие там могут быть немцы, если у нас точные данные? Может быть, просто трусишь или не хочешь помочь?

— Не трушу я! — заволновался парень. — Но там же немцы, сам перед вечером смотрел и видел, это ведь недалеко...

Я не мог поверить парню — те, кто отдавал приказ, знали положение передовой лучше. В этом я был уверен твердо. И потому после пререканий сказал:

— Ну, вот что, собирайся и веди. Дойдем до начала посадки — вернешься домой...

Часть первой роты была на задании, пришлось ограничиться двумя взводами. Было за середину ночи, шел при несильном ветре снег, видимость то увеличивалась метров до двухсот, то сокращалась до пятидесяти. Дошли до начала посадки, отсюда в сторону Ворошиловграда вихляла неширокая, наезженная санями дорожка.

— Вот, — сказал парень, — прибыли. А все-таки тут где-то передний край и немцы.

— Ладно, ладно, — засмеялся командир роты. — Спасибо тебе, ступай домой.

Парень ушел, мы продолжали движение — я впереди. Справа и слева у небольших курганов смутно мая-

чили и мельтешили иногда какие-то фигуры — кто, что делают? Не разобрать. Да и какое нам дело? У нас своя задача, своя дорога, которой мы и шагали плотным строем по трое в ряд.

Солнце еще не всходило, но уже сильно посветлело, когда из высокого бурьяна слева выскочил к задним шеренгам человек в одном мехжилете. Кто? Почему в жилете на морозе? Подвели ко мне — и я не поверил своим глазам: командир нашего полка Андрющенко!

— Ты что тут ходишь? — спросил он меня.

— Я по приказу. А ты?

— Был на совещании у генерала, заблудился. Адъютанта убили, я бросил шинель, затаился в бурьяне. Ты идешь в тылу у немцев!

— Чепуха какая-то, не может быть.

— А ты посмотри...

Мы стояли в начале квадрата поля, чистого от травы, — все здесь было исполосовано траками... немецких танков! Я несколько растерялся — и факты были злоежи, и поверить трудно. Впереди виднелось начало сада, я подал команду «Бегом!». По закрайку сада вихрями накрутило большие сугробы, приказал взводам расположиться в них, все ж таки укрытие от визуального наблюдения. А сам по снегу, доходившему до колен, двинулся к тому, что отстояло метров на сто пятьдесят и казалось маленькой избушкой. Не прошел я и половины пути, как из этой «избушки» стал бить трассирующими пулемет и затрещали автоматы. Не по мне. Проследил трассы — они шли направо, к живой массе, колеблющейся на закрайке лога. Волна ее то поднималась на склон, то под ударами пулеметов и автоматов скатывалась назад. Что происходит? Поднес к глазам бинокль, но ничего не увидел — после тепла в жаркой хате стекла запотели, а теперь замерзли. И все же ситуация мне настолько не понравилась, что я остановился и подал знак рукой. Взводы поднялись из снежного вала и двинулись ко мне. Стрельба из «избушки» прекратилась, белые призраки — солдаты в маскхалатах — скатились в отвершек рва, уходившего к аэродрому.

Мистика! Если свои — чего бегут? Если немцы — почему не расстреляли меня? Совсем близко ведь...

Подошли к «избушке» — это был стожок соломы. Возле на утопанном снегу валялись фотоаппарат, винтовка, два немецких автомата. А из лога, оттуда, куда

били пулеметы и автоматы, поднялись ряды атакующих солдат. Наших. Шли по пологому склону молча, без выстрелов, с вынесенными для атаки штыками, изготовленными к бою ручными пулеметами и автоматами. Что делать? В любую секунду команда «Огонь!» и нас «сдуют» вместе со стожком. Суматоха в голове — что делать, что делать? Не очень уверенный, что это выход, приказал:

— Всем на открытое, не ложиться, винтовки — в снег, тузить друг друга под микитки!

Подумалось: если не признают своих, — видно-то плохо, солнце только показывается, внизу плавает какой-то красновато-фиолетовый туман, — если не признают, то посчитают, что немцы сошли с ума или решили сдаться.

Через несколько минут — последние сто метров атакующие одолели бегом — передо мной стоял старший лейтенант, командир стрелковой роты, в обындевелой белесой шинели, худой, жилистый, запыхавшийся. С автоматом, направленным мне в живот. И никогда в жизни на меня не обрушивалось такой ругани и матерщины! Я его понимал — пока, после припадка брани, мы не объяснили ему ситуацию, он думал, что это мы вели огонь по своим, мешая развертыванию их атаки на аэродром...

А при чем тут карта и сверка ориентиров по опросам местных жителей?

Парень был прав — мы шли по тылам немцев. Не обстреливали нас потому, что считали — передислоцируется своя группа, в метели-то не разобрать. А секрет всей катавасии прост: карта была издана до войны, при оккупации немцы вырубili на отопление посадку, ее край сместился влево больше чем на километр. Мы этого не знали...

Жаль, что тогда, в разговоре после первых учений, дивинженер Домикеев не втемяшил в меня еще и этого — о сверке главных ориентиров на месте действия.

Это уже пришлось прибавлять самому к его «командирскому боекомплекту» — карта, компас, часы, приказ. Его я соблюдал неукоснительно и, оглядываясь назад, думаю, что это пошло на пользу и мне, и тем, кто находился в моем подчинении. И еще я для себя сделал вывод: первый урок, как первый блин, может выйти комом, но все же это урок!

Командир второй роты Борисов чуть ниже среднего роста, плотный, русочубый, подвижный. Дай еще в руки гармонь — первый парень на деревне. Чуб тогда, правда, отпустил бы до переносицы, по нормам сельской моды, а сейчас носит коротенький, выбивается пучком щетины из-под края пилотки. Солдаты его любят и побаиваются — от шутки легко переходит «к завинчиванию гаек», — командиры взводов с ним малость панибратствуют, поскольку молод, многим сверстник. Окончил военное училище, в боях не был, но собирается стать кадровиком. Все время присматривается ко мне, зондирует наводящими вопросами, не могу понять — для чего? Какие там у него шевелятся мысли под лихо сдвинутой пилоткой?

Сидим на скамейке в укрытии наскоро сколоченного навеса — тут у нас столовая, — стен нет, вместо них завеса капли — на улице тихий, без ветра, но спорый дождь. Борисов покуривает, говорит, вроде безразлично глядя в степь:

— Про вас, товарищ капитан, слух пускают, что вы были поэтом и в газетах работали... Ну, люди помолоть языками любят, обыкновенное дело. Верно?

— Был, — усмехаюсь я. — И в газетах работал, и стихи писал.

— А сейчас? — быстро взглядывает на меня Борисов.

— Сейчас когда же? Времени нет.

— А я думал, что газетчики и стихоплеты... извиняюсь, поэты и писатели всякие по своей специальности действуют или на политработе.

— По-всякому бывает — война все же.

— Это верно, она перемешивает. А вот небось не забывается-то старое... Я, к примеру, косил когда-то, так дай сейчас косу — пойду луг стричь за милую душу.

— Я тоже косил и сейчас могу. Но тут все же другое.

— А могли бы сложить что-нибудь?

— Не знаю, не пробовал.

— А вы попробуйте, товарищ капитан. Про саперное что-нибудь. Мы вот в роте стенгазету выпускать будем, меня в редколлегию втиснули. Попробуйте, все просим!..

Из лагеря на берегу Кубани нас перебазировали по-

ближе к полковому, на берегу Урупа. В единственном маленьком здании на территории лагеря в двух комнатах и штаб, и жилье комиссара, моего заместителя и мое. Вечером при свете малоформатной керосинки выполняю «задание Борисова»...

Да, уже больше месяца я в батальоне, но о том, чтобы писать, да еще стихи, даже и не думал. В последний раз «баловался» этим в Костроме на инженерных курсах, писал, наспех и небрежно, урывками шуточно-пародийную историю нашего житья-бытья. Зачем? Кто его знает, без всякого особого повода и, конечно, не для печатания. И никому не показывал и не читал. С тех пор даже в помыслах к журналистике и поэзии обращался все реже — видимо, как там не философствуй, жесткие требования жизни, самого бытия «подчиняют душу». К тому же газеты к нам попадали редко, когда присылал политотдел, книг не было и, значит, не было «настройщика» — не знаю, как там у других, а на меня газеты и книги всегда действовали возбуждающе и побуждающе. Заряжали жаждой узнавать, размышлять, писать. Хотя бы и без конкретной цели, в порядке эксперимента.

Работа с языком, образом, метафорой не только увлекательна сама по себе, но для журналиста и литератора позарез необходима — без такой практики, без такого опыта все потом будет мучительно медленным и малоинтересным. Целесообразное дело, увлекательная игра? Я, признаться, никогда всерьез над этим не задумывался, но сколько до войны в Смоленске исписал бумаги по ночам и выходным дням — исписал, чтобы затем без размышлений выбросить!

Теперь, измаянный за день делами батальона, я по ночам спал крепко и без сновидений, — часов пять в сутки, больше не получалось, — и думы мои шли в одном направлении, «по военной дороге». Как научиться надлежаще воевать самому, как научить тому же командиров и солдат? Идеалистом я не был, знал — когда и где, то неизвестно, но на фронте нам быть, и воевать, и кому-то погибать. Вот это — погибать! — сидело раскаленной занозой в мыслях и чувствах. Личный страх? Нет, я уже пообтерся во всяких переделках, мог надеяться, что извернусь и в трудных обстоятельствах, но ведь мне придется посылать, а моим командирам и солдатам — идти в огонь...

Честно говоря, я плохо представлял, как чувствуют себя кадровики, наверняка, у них за время учебы вырабатывается какой-то профессионализм, он отводит, убавляет такие рефлексирования, которые, в чем я убедился позже, могут приносить больше вреда, чем пользы. Хороший профессионализм, особенно в соединении с изобретательным творческим мышлением, позволяет избежать многих ошибок, а значит, и жертв. Но во мне все еще сидел наполовину штатский...

До этого я уже сделал несколько записей в блокноте. Теперь сюда вошли и стихи по «заказу Борисова». Они уместились на страничку.

Воин без подготовки —
Что патрон без винтовки,
Что снаряд без заряда...
Словом, то, что не надо.
Пугаются звери, ломаются ветки —
Серов и Галушка шагают в разведке.
Вот мост перед ними. Оценка проста —
Противник забыл про охрану моста.
Решают герои — на том берегу
Мы кузькину маму покажем врагу!
Окончилось дело — ни тпру и ни ну —
Две мокрых вороны горюют «в плену»...

Уменье копи
и оттачивай глаз:
Сапер ошибается
только раз.

Хороший сапер на работу скор.

Конечно, подлинной поэзии в этих стихах не больше, чем коровьего масла в каше, которой нас кормят в импровизированной столовой. Но, быть может, полезно и для стенгазеты, и для самодельного плаката в той же столовой? Мой заместитель, которому я показал эти свои «творения», сказал:

— Всякой там поэзии я не судья, а по существу верно и для дела полезно. Сам не понимаю, как получается, а хорошие короткие фразы, особенно с этой самой рифмой, в мыслях лучше и прочнее укладываются... Так что давай бог... Только фамилии не выставляйте, не комбатское дело лишние пересуды плодить...

Больше я для стенгазеты не писал.

Комиссара у нас в батальоне первое время не было, его замещал политрук. Так как предполагалось, что его на этой должности могут и утвердить, я старался приглядеться к нему, сойтись поближе. За батальон нам, в конечном счете, отвечать вместе — и во время учебы, и на фронте. Но ни взаимопонимания, ни душевности в отношениях никак не получалось, не сбавывали какие-то контакты.

Невысокого роста, с брюшком и круглым лицом, которое могло бы подойти и женщине, он был не очень разговорчив, медлителен в движениях и производил двойственное впечатление. Он был несомненно политически подготовленным человеком, свободно цитировал по памяти классиков марксизма, разбирался в событиях. До войны преподавал обществоведение в техникуме. Не вызывала ни малейших сомнений его полная добросовестность и желание сделать все наилучшим образом. Но, будучи человеком сугубо штатским, помнившим события тридцать восьмого — тридцать девятого годов, он панически боялся политотдела дивизии и скрупулезно, миллиметр в миллиметр, придерживался инструкций. Именно поэтому его информации и сообщения в ротах вызывали только скуку и сонливость — ни одного живого факта, речь вялая, осторожная, словно крадущаяся по тропинке над пропастью, вся в канцеляризмах и штампах. В разговорах с ним я нарочно подбрасывал острые вопросы, но он, как бы подозревая подвох, — не проверяю ли на политическую благонадежность? — уходил от самостоятельных оценок и суждений, либо подсовывая мне прописную истину, либо ссылаясь на то, что по данному вопросу указаний из политотдела не получал.

Я ценил в нем добропорядочность, сочувствовал ему по-человечески, но мне трудно было представить, что политическая работа на таком уровне могла приносить существенную пользу, — жизнь шире, многообразнее, конкретнее инструкций, она обгоняет их и непрерывно задает вопросы, на которые надо отвечать, а что он может сделать, если сам боится этих вопросов? Как-то при случае я рассказал о моих наблюдениях Домикеву. Тот, как всегда молча, покуривая папиросу, выслу-

шал до конца, но вместо какого-либо ответа начал с вопроса:

— Ты ведь беспартийный?

— Беспартийный.

— Так вот тебе мой совет — не ввязывайся ты пока в это дело. Занимайся своими прямыми обязанностями.

— А отвечать мы за все должны вместе?

— Как положено.

— И я должен согласовывать с ним каждое серьезное решение.

— Должен.

— А он, пока не согласует с политотделом, ничего мне не ответит.

— Не понимаешь ты меня! — удивился Домикеев. — Я тоже заметил, что этот твой Б. не орел. Но в политотделе у нас сидят умные люди. Так что и сами разберутся.

И в самом деле — разобрались: Б. назначили политруком в роту, а в батальон прислали комиссара, старшего политрука Шульжика Михаила Макаровича. Сибиряк, бывший шахтер. Роста такого же высокого, что и Домикеев, конструктивно, по кости, крепок, из-за худобы чуть угловат. Речь при малости заметном оканье живая, мысль излагает резковато и прямолинейно, к случаю громко похохатывая. Когда нас познакомили, первым делом сказал:

— Как будем — с церемониями или без церемоний? Давай сразу переходить на «ты», все равно от этого никуда не деться, так лучше и волюнку не тянуть.

— Давай.

— И откровенно. Ходить нам в одних оглоблях.

— Давай и откровенно.

— Ну, если так, то скажу — вид у тебя малость заморный. Мясца нарастить бы малость. На курсах загоняли или уже тут?

— Меня — в разных делах. А тебя где?

— Я от роду такой. На мне жир не заводится.

— Тут уж и подавно не заведется.

— Я и военных подвигов еще не совершал. Ты совершал?

— Да пока нет.

— Ну, стало быть, вместе в историю входить будем. Кстати, учти, я в саперном деле ни уха, ни рыла, детонатора от бикфордова шнура не отличаю. Так что ты или

меня скорей учи, или сам всем заправляй, а я буду политрабому ставить...

Вечером того же дня в штабной комнате, не смущаясь меня и адъютанта старшего, Шульжик выпрашивал у политрука Б., принимая от него дела:

— Слушай, а кино у вас тут давно было?

— Совсем не было.

— А вы что, монастырь решили устроить?

— Не привозили нам. И учеба с утра до вечера.

— Вот вечерком и соорудить сеанс на свежем воздухе. «Чапая» прокрутить, военную хронику. Интересно!

— Нету передвижки в политотделе.

— А ты давно там был?

— Мне говорили.

— Мало чего наговорят! А нет в политотделе — в городе выпросить можно. У кого-нибудь есть.

Явно задетый прямолинейностью и резкостью тона, Б. обиделся:

— Я действовал в пределах указаний. И не понимаю, какие ко мне могут быть претензии!

— Да я претензий и не предъявляю! — засмеялся комиссар. — Понимаешь, сам в кино давно не был, так и тянет. С детства обожаю эту работу!

Мы с адъютантом старшим делаем вид, что ничего не слышим, не видим, не знаем. Пусть самоуясняются. Но комиссар мне определенно нравится. Правда, немного настораживает, что умеет, видимо, давить на психику, да еще с изворотами, так что и не придерешься. Но это ничего, стычек, по всей вероятности, не избежать, а сработаться можно.

ДНЕМ И ВЕЧЕРОМ

В субботу малость встряхнули город, который находился в таком далеком тылу, что сюда, кажется, еще не залетал ни один немецкий самолет. Дивинженер Домикеев по совету комдива должен был проводить с командирами стрелковых батальонов занятия на тему: «Инженерные заграждения в современной войне». Но так как сам он произносить речей и читать лекций откровенно не любил, то оставил за собой только вступительное слово, а все остальное поручил мне: «Ты газетчик, у тебя язык лучше привешен. И с курсов недавно». Од-

нако, не надеясь на то, что комбаты в воображении воспроизведут все то, что будет преподнесено словесно, он предложил мне устроить показательные взрывы.

— И сами потренируетесь лишний раз.

— Да мы уже тренировались.

— Ничего, лишний раз не повредит. Да повыразительнее устрой. Можешь?

— Отчего же нет? Могу. Какие заряды ставить?

— Сам и реши. Что есть у тебя из этой амуниции?

— Да есть малость... Аммонал в крошке, аммотол, тола немного, противотанковые и противопехотные немецкие мины — для обучения давали, с начинкой, но без взрывателей... Каша в общем.

— Аммотол — что это? Первый раз слышу.

— И я сам тоже. Говорят — слабоват, вроде аммонала. Но это ничего, тоже сойти может... Вот динамита не люблю, роза-мимоза какая-то, не тряхни его, не перегрей, не стукни, не урони. От одних предостережений руки трясутся!

— Тогда договоримся так — используй тол, несколько связок, ну еще и немецкие мины — они уже не нужны. Нанянькались с ними, закапывали-выкапывали?

— Ага.

— И ладно. Действуй.

Для демонстрации взрывов я взял с собой Ивана Казакова. Он ушел копать со взводом, а я после вводной дивинженера, в которой он изложил общие принципы минного дела, пересказал все, что узнал на курсах в Костроме с добавкой личных впечатлений от «зимней войны» в Финляндии. Мины, фугасы, камнеметы, мины замедленного действия, расчетные по времени, неразминируемые, взрывы одиночные с помощью бикфордова шнура или на электрозапалах, применение детонирующего шнура... Живописал я с вдохновением и азартом — не в последнюю очередь с тем, чтобы знали, какие мы есть, саперы, какие силы у нас в руках. И, наверное, вместо того, чтобы просветить, даже и запугал пехотных командиров — чего доброго, каждый шаг на войне показался им смертельно опасным, с тысячью ловушек из всякой чертовщины. В общем это было правильно, но, возможно, преждевременно. Потом пошел к Казакову:

— Готово?

— Готово, товарищ капитан.

— Что заложили?

— Все, что было приказано.

— Ладно, действуйте...

И сделал ошибку — не поинтересовался схемой расположения заряда. Считал само собой разумеющимся, что в раздельности — вот это рвутся заряды тола, вот это мины противопехотные с натяжным действием, вот противотанковые от бикфордова шнура, который горит один сантиметр в секунду и, значит, дает возможность отойти в укрытие. Но до этого мы обходились малыми зарядами, притом главным образом аммонита, а Казаков, чтобы долго не канителиться — каждый заряд надлежало поместить в колодец с засыпкой поверху — и показать «товар лицом», свалил все в три «гнезда», и притом так близко, что два заряда сдетонировали от первого. Рвануло мощно, свирепо, со столбом земли и дыма! Никто не пострадал в укрытиях, но кое у кого долго звенело в ушах. Ко мне стрелой прилетел дежурный из штаба полка:

— В чем дело?

— А что?

— Начальник гарнизона требует доклада о происшествии...

Началось все с таких добрых побуждений, а вышло плохо. В городе решили, что вот и начались бомбежки, в домике неподалеку вылетели стекла в окне, пришлось своим умельцам вставлять.

Меня отчитал командир дивизии — нет, не бранил, не упрекал, не грозил. Отстегал крапивой юмора и сатиры — он был мастер на это. И к концу подал леденец утешения:

— Польза одна — напоминание, что идет война. А то тут, на весеннем пригреве, кое-кто не очень об этом думает...

Меня отчитал комдив, адъютанта старшего — инженер:

— Ртом ворон ловим... Почему не было указаний о количестве и мощности зарядов? Формального приказа?

— Уже столько учили...

— И недоучились. Немцы на фронте, конечно, доучат, да плата дороговата...

Взрывчатка кончилась, учения на эту тему тоже.

Комдив созвал совещание командиров частей при штабе дивизии. Разбирались, как всегда, наши достиже-

ния и упущения все с теми же настояниями — ускорить подготовку, даже если для этого придется сократить программы за счет второстепенных предметов. Главное — огневая подготовка и действия на местности, то, что в первую очередь необходимо на войне. В заключение сказал:

— Если у кого в частях нет срочных дел, разрешаю увольнительную до двадцати четырех ноль-ноль. В клубе выступление эстрадных артистов.

Все же командиры полков разъехались по своим частям. «Сердце не на месте,— пояснил Велиховский.— И я не предупредил, что останусь».

А я остался и сначала часа полтора просидел у командира химроты Николая Краснова, который перебазировался в город из лагеря возле Кубани. Думал, что с ним вечер и проведу, но у него оказались какие-то дела, он ушел, и я в одиночестве отправился в парк.

Я знал смоленский парк перед самой войной — в конце дня туда приходило погулять множество пожилых людей, мамы катали коляски с младенцами, а после заката и до поздней ночи в аллеях, на бастионах старой крепостной стены, возле пруда, на танцплощадке бывало полным-полно молодежи. Шум, смех, музыка, лирические объяснения, ссоры ревности, примирения.

Армавирский парк перед вечером был почти пуст — так же, впрочем, как и улицы в самом городе. Пожилые люди, видимо, в парк перестали заглядывать, не до развлечений и променадов, мужчин в штатском почти никого. По двое, по трое, небольшими стайками бродили девушки и молодые женщины. Малолюдно было и на танцплощадке, куда я пришел под закат. Играл плохонький оркестр, несколько пар танцевали — девушки с девушками. Грустное зрелище. Оживились все, когда солнце стало садиться,— словно почувствовали облегчение от того, что вот и еще один день кончился.

Зажглись огни — негусто, видимо, свет сэкономили. Народу как будто прибавилось, танцы пошли чуть веселее. Я тоже был не прочь потанцевать, но, до глупости стеснительный,— как ни странно, это осталось у меня со времен деревенской жизни! — боялся пригласить партнершу. Выручил меня командир стрелкового батальона Щ.— щеголеватый, лихой на слово и дело, к тому же малость выпивший, что, впрочем, ощущалось толь-

ко по запаху. Наши батальоны стояли рядом в одном лагере километрах в трех с лишним от города, и я удивился, как он сюда попал.

— Очень просто,— сказал он,— оставил заместителя. Телефона нет, не вызовут, на проверку не приедут— воскресенье. Я уже не в первый раз. А ты что киснешь? Батальонная каша пригорела?

— Да нет, я в увольнительной.

— Тогда о чем речь? Фронт далеко, девки близко — верно? Вон там танцуют две огневые брюнетки, давай разобьем.

В самом деле, одну из пар составляли две красивые, как на подбор, брюнетки. Чего ради они так танцевали? Доставляло это им удовольствие или было способом привлечь внимание? Не знаю. Но пару мы «разбили». Та, с которой пришлось танцевать мне, была очень мила, улыбчива, но не очень разговорчива. Только один раз, вздохнув, она взяла инициативу беседы в свои руки:

— Жалко вас...Сегодня здесь, завтра на фронт.

Я не хотел отделяться проходными фразами и геройствовать, промолчал. А она добавила:

— И себя жалко. Скоро совсем одни останемся.

Часов в одиннадцать площадка начала пустеть, все быстро расходились. Я проводил мою партнершу до дому — недалеко, квартала два, как раз мне по пути. А Щ. сказал:

— Ты в лагерь иди один. Я Люсю провожу, а там видно будет.

В понедельник я узнал, что он остался на ночь, опоздал в батальон и получил нагоняй от командира полка. Во вторник я увидел и его самого — он сидел, покуривая, в жидкой придорожной посадке, а по бурому прошлогоднему жнивью с черными пятнами осеннего пала, рассыпавшись цепью, лениво брели солдаты. Он помахал мне рукой:

— Привет, капитан! Заходи — гостем будешь.

Я присел, тоже закурил. Он засмеялся:

— Вот учу героев от станка и сохи топать на Берлин. А они и ходят, как спутанные.

Шутка его мне показалась циничной и бестактной, о чем я ему и сказал. Он вздохнул:

— А за Люсю старик с меня стружку содрал!

— Комдив?

— Нет, до него не дошло. Полковник наш. И чего фыркает, не понимаю! Сам не может и другим не дает... Служака, знаешь ли, из тех: «Мы смело в бой пойдем за власть Советов».

— А это плохо?

— Нет, почему же! В свое время и на своем месте. Молодых не понимает.

— А тебе за самоволку благодарность объявлять, что ли?

— При чем тут благодарность? Не обращать внимания, как на мелочь...

Так кончились два моих «контакта» с городом. Если не считать доставившего особое удовольствие хождения на базар в день приезда.

«НЕИЗВЛЕКАЕМАЯ»

Этот эпизод небольшой и к обучению и подготовке батальона, собственно, не относился, если не считать некоего морального аспекта. Но мне он временами снился и спустя двадцать лет после войны.

В лагерь пришел пешком дивинженер Домикеев, а минут через сорок, пока мы говорили о текущих делах, привезли на телеге некий железный, покрашенный зеленым параллелепипед. Он был заботливо устроен на сене, которым набили телегу. Увидев телегу из окна, Домикеев предложил мне пойти на улицу.

— Принимай подарок,— сказал он.

— Что это?

— Неизвлекаемая мина... Слыхал о таких?

Я, конечно, слыхал — такие мины включают в минное поле. Устроена она так, что взрывается при любом прикосновении, даже если земля не мерзлая,— от легкой вибрации и сотрясения, когда к ней подходят. Понятно, что, столкнувшись с такими «сюрпризами» раз-другой, саперы заболевают «минобоязнью», а от таких «больных» дружной и быстрой работы не жди. На это, видимо, фашисты, вводя подобную «начинку» в минные поля, и рассчитывали. Но в данном случае все выглядело несколько курьезно.

— То-то и оно,— вздохнул Домикеев,— загадка какая-то. А загадок не должно быть. Нам поручено эту

штуковину разобрать и описание со схемой представить в штаб. Кому поручишь?

— Не знаю... Подумать надо.

— Ну, ты думай и действуй, а у меня дела в полку. Я пошел... Попозже загляну — доложишь...

Мину сгрузили на травку метрах в ста от штаба, стали советоваться. В «разборщики» добровольно вызвались командир роты Борисов и командир взвода Казаков. Но, во-первых, по характеру оба были не без суетности и горячности, а во-вторых, мины вообще знали поверхностно. Отказали.

— Адъютант старший подошел бы, — высказал соображение мой заместитель, сам тоже плохо знавший минную технику.

Но адъютант с первой ротой занимался в лесу километрах в полутора, пока дойдешь, пока найдешь...

— Придется мне, — сказал я.

Протесты, уговоры — не годится комбату заниматься такими делами. Но, с одной стороны, у меня была солидная подготовка в Костроме, где я видел и немало типов мин «в натуре», а с другой — как бы я потом чувствовал себя, подставив под удар кого-то другого? Позже, на фронте, я не раз посылал людей на смертельно опасные дела, с которых, бывало, так и не возвращались, и, хотя всегда испытывал при этом какое-то щемящее чувство печали, делал это без колебаний — надо, обязанность. Но тут во мне все еще сидел штатский с каким-то тайным подзуживанием — показать, что не лыком шит, что не трус.

Ел меня «ползучий психологизм»? Ел. Страшновато все же. Чего? Конечно, проблема «неизвлекаемости» была снята тем, что мину вон сколько везли. Какая уж тут неизвлекаемость, курам на смех! Ну а если эту необычной формы мину специально сделали так, чтобы она взорвалась именно при разборке? Для остережения — не суйтесь в чужие секреты. Вполне логичное допущение. Когда я до него дошел, показалось, что вдоль спины бегают муравьи, но отступать уже было нельзя. И, прекращая разговорщину, сказал твердо:

— Разбирать буду я!

Канительное получилось дело. Два солдата отрыли щель глубиной метра два, с уступом, таким земляным столиком. Я взял три отвертки и на всякий случай клещи. Прижав к животу, осторожно внес мину в щель и,

поставив на столик, приказал всем уйти. Размышлял, разглядывая четыре винта, крепившие заднюю стенку, — может ли взрывной механизм соединиться с одним из них? Вряд ли, опасно было бы и для сборщиков. На всякий случай осторожно отвернул каждый на два оборота...

Ничего, светит солнце, задувает в щель свежий ветерок, с миной и со мной ничего не произошло. Продолжаю так же — отворачиваю каждый винт на два оборота, останавливаюсь, осматриваю. Нормально. Рассуждаю: все четыре винта сразу отвертывать до конца нельзя, стенка может отвалиться, и что тогда произойдет — неизвестно. Вдруг на то и расчет? Отворачиваю и осторожнейше, словно ловлю змей за головы, вытаскиваю два верхних винта. Никаких перемен. Чуть отвожу верхний край крышки, пытаюсь заглянуть внутрь — нет ли каких соединений с внутренней начинкой? И ничего не вижу — в щели тень, в mine темнота. Хорошо, что постоянно ношу на ремне фонарик — отцепляю, присвечиваю. Нет, похоже, крышка с внутренностью ничем не соединена.

Отвинчиваю два нижних винта и, медленно-медленно отводя, снимаю крышку. Странное дело, пот заливает глаза, сразу ничего не могу рассмотреть. Отхожу на шаг назад, сажусь на землю и закуриваю. Наконец туман с глаз спадает, чувствую прохладу, возвращаюсь к mine, вижу заводной механизм — для установки, две тонкие параллельные блестящие пружины, похожие на часовые, — при вибрации они соприкасаются и замыкают ток от батарейки, срабатывает электродетонатор — взрыв. Вижу и плоскую батарейку, но гнездо для детонатора... пусто! То ли кто-то допустил при сборке брак, то ли какой-то антифашист сделал доброе дело с умыслом, но гадина без жала!..

Остальное просто — вынимаю и выбрасываю на брусстер тол, забираю мину с механизмом и крышку и выхожу. Честно сказать, пошатываясь выхожу — вместо ног не то колодки, не то мокрые ватные кули... Никогда и предположить не мог, что нервы могут выкидывать такие фокусы!..

Машу рукой, когда подходят солдаты, приказываю отнести мину в штаб, описание и схему сделают там...

Вероятно, было нервное потрясение — сколько раз снилась мне потом сырая щель в кубанском черноземе

и зеленая железяка! Но было и ни с чем не сравнимое удовлетворение — слух о происшествии распространился широко, даже за пределы нашего батальона, командиры и солдаты, которые прежде могли, хоть и мягко, но подтрунить над моей «штатскостью», признали во мне комбата стопроцентно.

О том, как бросало в жар и как стали ватными ноги, я рассказывать не стал...

НА ФРОНТЕ

Формирование и учеба кончились внезапно.

Дивизия вышла на полевые учения на берегу Кубани. Уже высоко поднялась и обозначила колошение пшеница, густые заросли сочной травы — сожми в горсти, и сок брызнет! — затопили лога, ложки, берега реки. В садах текла, как сметана, источала одуряющий запах белая акация. И стояла воистину срединнолетняя погода — теплынь, легкий ленивый ветерок, белые, как лебяжья стая, облака в синем небе Закубанья. Странно было даже представить, что где-то визжат в пике самолеты, ухают бомбы, режут снаряды и каждую секунду кто-то в муках уходит из жизни. Как, может быть, никогда до этого ощущалось, что война дурацкое, ненормальное состояние для человеческого общества, что она является порождением помутившегося сознания и уродливого извращения психики. Человеку давно притачали титул «царя природы» — так неужели сообщества из этих «царей природы», мнящие себя вознесенными на вершины разума, не могут договориться мирными средствами? Да, не могут. Потому что современные капиталистические сообщества мира — по крайней мере в лице их руководителей — демонстрируют не столько вершины разума, сколько пауков в банке, среди которых самый хищный и поэтому именно самый тупой — фашизм...

Но это все, как сказал бы комиссар, «философические воланы». Если бы да кабы да во рту росли бобы... А действительность в своей наготе проста и ясна: готовиться к бою. И я самым искренним образом удивлялся разнице между теми полевыми учениями, «первой примеркой», и этими — полная ясность задач, уверенность, слаженность действий, не без сбоев, но надежная в об-

щем работа связи. Любопытство мое, давнее и не без практических целей, было удовлетворено — мне впервые, не на карте, а на местности, на грешной земле, как есть она со всеми своими полями, лесками, ложками и высотами, открылся порядок боевого построения частей и подразделений, суть и смысл маневрирования в быстро меняющейся обстановке.

День, горячий, напряженный, кончился. На закате, когда из-под ног, заставляя вздрагивать, черными ракетами выносились перепелки, а в придорожных посадках исходили свистом соловьи, я шел из второй в первую роту и совсем невзначай наткнулся на капитана Щ. Комбат ужинал у костерка, разведенного прямо в чьем-то саду. Увидев меня, обрадовался и заявил, что «берет меня в плен по законам военного времени».

— Плюнь на роту, — посоветовал он, — никуда не денется. Ты посмотри, ночь какая наступает, может, больше нам такой и не выпадет. Не ночь, а опера... Поешь вот и пойдем.

— Куда?

— Я тут медсанбат разведаль. И есть там три или четыре сестрички — гурии для правоверных! Особенно одна. У них там и антисептик найдется, сиречь спирт.

— Нашел, чем заниматься.

— А что? «Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий». В раю, брат, из соотечественниц одна Варвара-великомученица, не шибко разгонишься.

— Иди, если охота. Я — нет.

И рассказал капитану, что уже забредал случайно в палатку медсанбата во время первых полевых учений. Сестрички и врачи там действительно очень милые, но не думаю, что встретят с распростертыми объятиями. К тому же начальник госпиталя серьезный человек. Кроме того, отбоя не было и в любую минуту любого из нас могут вызвать в штаб. Или принесут приказ на передислокацию — ищи тогда собственных солдат всю ночь.

— Ничего, я мигом обернусь, — сказал Щ.

Вернулся он довольно быстро:

— Там не гурии, а фурии. Через брезент язвят и лают, в палатку ходу не дают. Языки же у них — можно вместо хирургического инструмента употреблять...

Я посмеялся, сказал, что, как видно, его слава уже дошла до медсанбата и атаки в этом направлении вряд

ли принесут успех. И ушел в первую роту. Все передвижения окончились. В примерке на то, что вставать чуть свет, я уже собирался поспать, когда пришел посыльный.

— Срочно к командиру дивизии.

— Куда?

— В город. В штаб.

За час на велосипеде я проехал под звездами немало километров, рискуя сломать шею, но на совещание опоздал — оно было коротким. Мне было сказано, что дивизия отправляется на фронт и что я назначен начальником эшелона, в котором, помимо нашего батальона, должны двигаться «сводные братья» — противотанковый дивизион, минометчики, штабная батарея, зенитчики, химики. С утра — на погрузку. Позаботиться, чтобы «сводные» прибыли своевременно, — пока не все командиры даже знают, что выступаем. Найти, передать приказ, доложить.

Поэтому последняя ночь перед выступлением оказалась для меня суматошной — отправлял посыльных и получал подтверждения о готовности. Впрочем, не до сна было и другим — волновались и собирались.

На рассвете покинули лагерь.

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. На станцию к тупикам, куда должны были подаваться товарные эшелоны, мы прибыли на восходе солнца, а уехали во второй половине дня. Погрузка целой дивизии дело сложное, а вдобавок эшелоны подавались с большими задержками. Наконец — тронулись: паровозный дымок, перестук колес, свежий ветер в открытые двери, где, свесив ноги, расселось наше немного нервничающее воинство. И тогда, вполне естественно, возник вопрос — куда?

Фронт велик, от Ледовитого океана до Черного моря, — где уготовано место для нас, будем ли мы мерзнуть и хлюпать в болотах Карелии или жариться на южном солнце? В штабе дивизии нам не сказали ничего, мы надеялись узнать что-нибудь о станции назначения от железнодорожников, но они либо сами ничего не знали, либо довольно умело демонстрировали незнание.

В степях Кубани лоснилась под ветром пшеница, теплый с белыми облаками день поигрывал тенями, открывал глазу немереные просторы. На станциях толпились женщины, так как состав не останавливался, бросали в вагоны на тихом ходу буханки белого хлеба, куски сала, даже банки со сметаной. Я так и не мог для себя решить вопроса — почему? Потому ли, что в этом хлебосольном краю уж так повелось, или потому, что в нашем эшелоне было много уроженцев Кубани и успели предупредить? На подступах к Ростову стали попадаться разбитые здания, возле железнодорожного полотна тут и там чернели воронки — следы бомбежек.

— Лицо войны, — вздохнул начальник боевого питания Шумский, человек пожилой и сугубо штатский, не любивший ремней и все время норовивший ходить в расхлястанной шинели.

— Это? — спросил комиссар, указывая на воронки.

— Ага.

— Это не лицо.

— А что?

— Увидишь лицо — запоешь другим голосом.

К вечеру, перед заходом солнца, прибыли в Батайск. В небе курились редкие дымы Ростова. Похолодало. Спустились сумерки — мы продолжали стоять. Часов в десять издалека донесся комариный зуд самолетов, в небе шарили прожекторы, несколько раз начинали твкать зенитки. Командиры и солдаты разговаривали вполголоса, чувствовалась некоторая нервозность. В десять закрыли двери вагонов, подали команду — спать.

Но состав продолжал жужжать голосами, как пчелиный улей. Я до часу не ложился, проверял у командиров подразделений, все ли в порядке, нет ли отставших. Мимо нас на дорогу Сальск—Сталинград то и дело громыхали встречные эшелоны. Один из них притормозил, и я узнал, что эшелоны — наши, из тех, что вышли раньше. Завернули их из-под Лихой — ее непрерывно атакует немецкая авиация, она вся в огне, зарево видно за десятки верст. Для меня это было неприятным сюрпризом, я вспомнил столбы дыма над Боровском осенью прошлого года — так обычно немцы вбивали клин во время наступления. Или просто решили закупорить дорогу?

Делиться своими соображениями не стал ни с кем — придет пора, все разъяснится. Утром двинулись на

Сальск и мы. По пути станицы Атаманская, Егорлыкская, отсюда тоже много моих саперов, и на станциях происходит то же самое, что и на Кубани. Но тут предупредить не могли никак, значит, так здесь провожают на фронт и другие поезда. Порой, «наступив на хвост» впереди идущего эшелона, останавливались прямо в степи, тогда, побросав работу, к вагонам сбегались женщины с полей, из ближних полевых станок и хуторов, несли сало, коржики, пышки, оладьи. Трогательно и волнующе, если бы рассказывали — вряд бы и поверил. Посчитал бы — агитируют. Попадались знакомые и родственники наших солдат, это вызывало опасение — как бы кто не увлекся излишне прощаниями. Но отставших нет, больных тоже. В вагон, отведенный под изолятор, набилось полно «зайцев», поскольку тут просторнее. Иногда — мне поставили телефон — жужжит зуммер:

— Начальника эшелона! Докладываю — впереди по пересекающему курсу самолет.

— Чей?

— Наш.

— А зачем докладываете?

— Для порядка.

Немцев в воздухе нет.

Сальская степь. Сальск. Маныч. Степь не так пустынна, как весной, — я видел ее и тогда, — посевы, травы, сады, молодые посадки у дорог делают ее жилой, относительно уютной. И все же мне, человеку, выросшему на Брянщине, в краю холмов, лугов, многочисленных рек, рощ и лесов, она кажется скучной, однообразной. Долгий сухой закат заливает ее желтым лимонным светом, и позади поезда словно смыкаются, зализывая наш след, волны какого-то странного моря.

А с утра, как только всходит солнце, степь наливается настоящим летним зноем и струится, и дрожит, и плавится в блеске. Воздух мерцает, как прозрачная дистиллированная вода, на горизонте возникают марева, зыбкие и слепящие — больно смотреть. А движемся медленно, с долгими остановками. Скучно. Комиссар развлекает задачками:

— Полторы селедки стоят полторы копейки. Сколько стоит селедка?

— Кирпич весит два килограмма и полкирпича. Сколько весят два кирпича?

— Великий ты математик,— говорю.— Сам придумываешь?

— Да зачем мне придумывать такую ерунду? Шахтеры развлекались, вот и припомнил. Ползем, понимаешь, как черепаха по стеклу, сплошное томление души...

На подступах к Сталинграду стоим еще чаще. Небо над городом бороздят прожекторы, скрещиваясь в одной точке, словно образуют светящийся шатер. Геркулесовы столбы света на темной дороге ночи. В Сталинград вползаем только утром в сплошной толкучке эшелонов. На крышах привокзальных зданий — зенитные пулеметы и пушки, видно, тут уже дела бывают и серьезные, хотя разрушений пока еще нет. Отсюда мы должны были двигаться на Морозовскую, но, во-первых, нас долго не выпускают вообще, а затем сообщают, что маршрут изменен снова. Морозовскую минувшей ночью жестоко бомбили, там пробка, и мы катимся на Арчеду, Поворино, Борисоглебск. Это значит, что нас направляют куда-то к северу, возможно, под Москву? Попрощались с Волгой — она в разливе и неправдоподобно широка, леса стоят в воде. Берега унылы, изрезаны оврагами.

Но далеко уехать не удалось — весь день простояли в Гумраке. Командиры, так или иначе соприкоснувшиеся с войной, строят догадки — с чего бы это? Тычемся, словно слепые, в разные стороны, возвращаемся, меняем маршруты, больше стоим, чем двигаемся. Так ни с того ни с сего не бывает. Что же происходит и чем это обернется в конечном счете для нас?

— Мосты-то мы так и не научились строить,— шутит адъютант старший.— Вот и не могут никак решить — на фронт нас везти или назад вернуть? Доучиваться...

Выехали только к вечеру. Рассвет, свежий, с росами по травам, застал нас в Арчедо в компании еще двух наших эшелонов. Я зашел к коменданту станции, чтобы «взять информацию», — может быть, он скажет что-либо о станции назначения? — но его не было, ушел спать. Проходя вдоль эшелона, увидел капитана Щ.— накануне, в Сталинграде, он, встретив фронтового приятеля, крепко перебрал. Теперь, нарвав цветов, он связывал их в букетик, и вид у него был грустный.

— В медсанбат или к местным дульцинеям собираешься? — спросил я.

— Да нет, просто так. Слушай, ты начальник эшелона, куда нас везут?

— На войну.

— Не трепись, что на войну — сам знаю. На какой фронт?

— А тебе не все равно?

— Пожалуй. Хрен редьки не слаще. А все-таки хочется знать свою судьбу. И уж скорей бы, что ли, куда-нибудь приехать. Мутит меня от этой волюнки.

— Мутит — это с похмелья. Вчера хорош был!

Он покосился на меня, понюхал и бросил на насыпь букет:

— Мораль читаешь, капитан? Брось, не стоит овчинка выделки. Какая там мораль в мясорубке!

— Жаль, не слышит тебя комиссар твой.

— А ты скажи ему, сунь доносик.

Что значит перебрать сверх нормы, знаю — назавтра небо с овчинку кажется, в голове лесопилка работает. Поэтому, вполне понимая состояние Щ. и не желая усугублять размолвку, пожал плечами и отошел. Снова тронулись, придумывая занятия на день, — отоспались с запасом. Решили, что едем воевать под Орел или, может быть, даже под Москву, но в Новоаннинской, когда я играл в шахматы, в вагон просунулась голова с белыми усами и в железнодорожном картузе:

— Начальник эшелона чи тут будет?

— Тут.

— Сгружайтесь... Тридцать минут полагается.

— Пойдите, какая может быть разгрузка? Наш эшелон идет восьмым, а здесь еще ни один не разгрузился... Да и фронта поблизости нет, глубокий тыл, что мы тут будем делать?

— Яки тут могут быть ошибки на транспорте? Тут никаких ошибок! Сказано в телеграмме — разгрузить, ну и разгружайтесь, а чи тыл тут, чи фронт — нам неизвестно, про то генералы знают...

Мы с комиссаром долго ломали голову — чего ради разгрузили нас здесь, за сотни километров от фронта? Пришли к нелепому выводу: чтобы вооружить, а потом, может быть, везти дальше.

Выгрузились.

Станция маленькая, из проходных, с облупленными стенами. Возле нее голая не замощенная площадь с ямами и лужами, по одну и другую сторону хаты обы-

кновенной станицы — низенькие, под соломой. Справа — железнодорожный мост над рекой Бузулук. А дальше, насколько хватает глаз, степи и степи, голые, ровные. Только вдоль реки кайма лозняков и ракитников. День, ночь и часть следующего дня так и проторчали на станции, спали где попало, главным образом в садах и в степи. Прибывали еще эшелоны, народу сбивалось все больше, и, наконец, нашему батальону указали пункт дислокации — лесничество километрах в трех или четырех от станции.

Батальон ушел, а мы с комиссаром задержались на совещании в штабе, брели в свое новое расположение уже впотьмах, по грязной, расквашенной дождем степи с изобилием луж и бочажин. Комиссар раздосадован — ночью камыши, озерки, низкорослый кустарник, окружавшие лесничество, производили на редкость унылое впечатление какого-то забытого богом болота. Чего это ради загнали нас в эту дыру?

Выезжали из Армавира с тревожным замиранием сердца — на фронт! — с атмосферой встревоженности столкнулись в дороге, когда переменили маршрут, и вот на тебе — шум кустарника, болотистый лужок, тьяканье взбудораженной хозяйской собачонки и на сотни километров вокруг ни одного орудийного залпа и выстрела. С кем тут воевать — с лягушками и комарами?

В избе, где мы поселились с комиссаром, — их тут всего две, — чисто, добрая пожилая хозяйка, но по ночам, черт бы их побрал, нестерпимо донимают клопы. Пришлось бежать вон, сооружать шалаш: стены из тюков прессованного сена, крыша из перевернутой арбы, поверх которой наброшен брезент. Многие в поезде, пока ехали, прочитали книгу Т. Семушкина «Чукотка», которая попала под руку по случаю, и теперь называют наше жилище ярангой. В этой «яранге» и протекает жизнь и деятельность «верховного командования» батальона. Воздух чист и свеж, клопов нет, правда, иногда донимают комары, но от них легче спастись, чем от клопов, — те допекут, хоть и с головой укройся.

Солдаты всеми доступными способами — мережами, взятыми взаймы у хозяйки, бреднями, плетенками — ловят в озерах карасей и линей.

Ни учений, ни работы, ни войны. Спрашивал у дивинженера — что же это за времяпрепровождение? Странное вроде. Ответ:

— Получишь приказ — действуй, нет приказа — жди... Сходи ты на Бузулук, выбери омут и утопи там штатского, который в тебе все еще сидит...

НА ВЕШЕНСКУЮ

Проходит неделя. И один за другим — слухи:

— Получаем оружие!

— Будем передвигаться на станицу Вешенскую, комдив уже там.

Может быть, и там. Но пока что штаб наш в Дурновской, а части в Родниках, Березовке, Староаннинской. Вешенская вызывает острый интерес, там живет автор «Тихого Дона» Михаил Шолохов, и нам чудится, что мы можем встретиться с его героями — Григорием Мелеховым, Аксиньей. Странной силой воздействия на человека обладает литература — заведомо известно, что герои романа вымышленные, а в сознании тем не менее утвердились в качестве живых людей. Остальное, — что можно встретиться, ведь они давно умерли даже в романе, — дело собственной фантазии.

Для слухов о получении оружия есть основания — днем раньше меня вызвал комбриг Запорожченко, спросил:

— Ну, как твои «чижики»?

Так — «чижиками» — называют солдат нашего батальона за то, что большинство из них по преимуществу молодые, смешливые и певучие.

— «Чижики» ничего, щебечут.

— А мостики от станции отремонтировали на живую нитку. Предупреждаю — наведи полный порядок, в ближайшие дни испытаем тяжелым грузом.

Пока что у нас никакого тяжелого груза нет — несколько полуторок да повозки. Значит, артиллерия на мехтяге? А может быть, и танки? Не успели закончить ремонт мостиков — выдали винтовки солдатам и пистолеты командирам. Приходит мысль — не влияет ли на психику сам факт обладания оружием? Бойцы вроде посерьезнели, преисполнились некоего даже внешне заметного достоинства. Смешное и одновременно грустное зрелище являет собой солдат С., самый низкорослый из всех; казачки, завидев его, причитают: «И куда ребенка на войну тащите, оставьте у нас!» С. стесняется,

вспыхивает пунцовой краской, но молчит — он очень скромн и застенчив по характеру. Между тем он, конечно, не ребенок — девятнадцатый год, в женихи годится. Но что поделат ь, если природа и строительный материал, и милости свои распределяет неравномерно — кому отвалит в излишке, так что и убавить бы, кому недоста т.

Утром прошла гроза, теперь шелестит тихий обложной дождик. Пристроив к уху телефонную трубку, играю в «яранге» в шахматы с Запорожцем — моим помощником по хозяйственной части, плотным и добродушным. Когда он мне представлялся, я сказал, имея в виду склонности хозяйственников ко всяким сделкам:

— За фокусы у нас тут три шкуры сдерут.

— А сколько у человека шкур, товарищ капитан?

— Ну, три, наверное, будет, а у хозяйственников и все четыре.

— Так, товарищ капитан, на вашу долю больше одной никак не придется, три с меня уже содрали!

Своей находчивостью он мне очень понравился, и, как видно, первое впечатление правильное — мужик умный, открытый, дельный. В армии служил лет восемнадцать назад «на действительной», теперь снова привыкает, но уже с опытом райисполкомовской работы. Игрок в шахматы он азартный до самозабвения, я думал прежде, что такими бывают только картежники. Но со мной ему не везет, и он мучительно, посапывая и вздыхая, ищет выход из трудного положения, а я тем временем слушаю перепалку на линии:

— «Дон»? «Дон»?

— Я «Дон».

— Дайте «Енисей». Это «Енисей»?

— Да-а...

— Что — «да»?

— Да, говорю, слушаю.

— Кто слушает?

— «Енисей»...

— Да вас что, не учили отвечать? Не с барышней разговариваете — не дакайте.

— Бросьте нотации, надоело.

— А вы отвечайте как следует. «Алма-Ата», не мешай.

— Мне четырнадцатый нужен.

— Не мешай, говорю!

— Да я уже сто раз слышу — «не мешай»...

Интересная у нас связь — к одной «нитке» припаялся и слушай всю дивизию. Впрочем, мне и эту «нитку» дали временно и с предупреждением, что как только «свернемся» на марш, так и отберут. Не положено.

Запорожец снова проигрывает и просит дать возможность отыграться. Я говорю, что мне с ним играть неинтересно, теряю квалификацию и ничего не получаю взамен. Один из болельщиков, командир взвода Иван Казаков, советует играть на кильки в банках, которые выдали сегодня, на борщ и кашу. Запорожец согласен на все и все под язвительные шуточки Казакова проигрывает. Между тем меня вызывают в штаб, вручают карты района и приказывают с утра выступить на Вешенскую.

Перед вечером, накануне выхода, старшина Смирнов и Мокринский, выпросив у лесника бредень, ловят в озере карасей. Слышны всплески, бултыханья, крики: «Заходи, заходи от левого берега! Чего волянишь? Эх, опять упустили роскошную жизнь!» Сероватый, с туманцем и дымной моросью, рассвет. У сараев, служивших казармой, выстроились «чижики». Старшина Смирнов с фонарем шарит по соломе — не забыто ли что-нибудь, не брошено ли, потом шпыняет кого-то на фланге:

— И что это за вид такой, прости господи. Не к милашке собрался, на войну идешь. Разницу понимать надо!

— Смирнов, кончай обедню!

— Есть, кончать обедню!

И снова свистящий шепот:

— Родная мать заплачет от такой заправки!

Невысокого роста, статный и гибкий, с темными глазами на красивом лице, Смирнов, на мой взгляд, является образцом старшины — дотошен, точен, что называется — службист. Причина, по-видимому, та, что он хотя и не воевал, но попал к нам прямо из кадровых частей, и в нем безо всякого побуждения, сами по себе, на уровне рефлексов, работают все навыки армейской службы. Побольше бы нам таких!

За туманом и моросью проступает солнце, первые блики ложатся на штыки и каски. Комиссар Шульжик говорит несколько напутственных слов — о том, что после того, как закончилась учеба и получено оружие, батальон представляет собой воинскую часть, достоин-

ством и честью которой каждый обязан дорожить, что предстоят нелегкие дороги и сражения и мы должны быть готовы ко всему, чтобы оправдать надежды родных, знакомых, народа. Вспыхивает троекратное «Ура!» — пошли.

СКАНДАЛ В УСТЬ-БУЗУЛУКСКОЙ

Из учебников географии о степи у меня сложились весьма туманные представления — что она ровная и в ней растет ковыль. А жила в сознании зримо степь шолоховская — с тяжелым густотравьем и пшеницей, с пряными ароматами и медленным полетом дроф, именуемых дудаками. Степь, которую мы видели этим утром, была другой — влажной от росы. Солнце, немного посветив, снова подернулась серой облачностью, а перед хутором Алексеевским пошел дождь — степь стала волнистой и тусклой. Тревожно посвистывали у обочины раскисшей дороги суслики, стоя столбиками у своих норок. Справа все время белели меловые кручи высокого правого берега Бузулука, плавно заворачивая к югу.

Роты сначала шагали бодро, но дорога все больше расквашивалась, и оживления убавлялось. А когда пошел дождь, то стало и совсем невесело — лица мокры, на ресницах капли, гимнастерки промокли, шинельные скатки набрякли водой. Пробуксовывая и выписывая загогулины, мимо нас прошли машины медсанбата, знакомые сестрички в мокрых шинелях кричали:

— Капитан, садитесь к нам, подвезем!

Они не знали, что далеко не уедут.

На ночь мы расположились в хуторе Алексеевском. Дождь разошелся, расшумелся, как паровоз, лужи вздулись пузырями. Меня вызвал комбриг:

— Под Усть-Бузулукской через Хопер инженерными частями построен новый мост, но проезд через пойму плох. Приступай с утра к работе, мобилизуй местные силы, делай что хочешь, а грузопоток к вечеру пусти! Раньше не требую — дорогу сам видел, там и в сухую погоду можно голову сломать...

Батальон расположился на отдых, а мы с комиссаром занялись оргработой. Алексеевцы оказались на редкость сознательными, выделили сто подвод и двадцать пять человек с топорами.

— Больше не можем. Мужчины, как и вы сами, в армии, остались женщины и старики. Лошадей тоже много взяли.

Звоню по тому же самому поводу в Усть-Бузулукскую. К телефону подходит председатель исполкома С. — вздыхает, мямлит, обещает «помозговать». А когда узнает, что нам придется для ремонта рубить лес в пойме, скрипит:

— Не могу разрешить.

— Придется, — говорю. — Никакого выхода нет. Разве что щебенку и камень подбросите.

— Не могу.

Пауза.

— Тогда, — говорю я, — придется через ваше «не могу».

— Но я не разрешаю, не позволю!

— Хорошо, — говорю я, выведенный из терпения словесной жвачкой, — приходите в четыре часа утра на трассу, там поговорим. Лес придется рубить.

Злой, взвинченный до предела, кладу трубку и долго не могу успокоиться. В каком пошехонье, в каком иллюзорном мире живет этот человек? Конечно, лес, особенно в этих местах, огромная ценность. Но я своими глазами видел гибель и сожжение Смоленска, горящие города Подмосковья, много слышал о разрушениях в Ленинграде и страданиях его жителей. Кровь, пепел, головешки, развалины. А сколько земли, лесов, городов и сел захвачено гитлеровцами. Неужели же этот местный сановник не понимает, что сто или двести деревьев в пойме Хопра ничтожнее пылинки в сравнении с гибелью городов, фабрик и заводов, машин и людей, с кровью и страданиями, выпавшими на долю народа?

Непостижимо! И если уж он так заботится о своем лесе, который, кстати, тянется широкой полосой на десятки километров, до устья Хопра, так почему бы ему не приехать для выяснения всех причин в Алексеевский или не пригласить меня в Усть-Бузулукскую вместо того, чтобы ограничиваться телефонным мыком? Много я видел тупого бюрократизма, раздутых самомнений удельных князьков, прикрывавших сомнительные свои дела заботами о народных интересах, но такого — никогда. Поэтому вспоминался щедринский город Глупов и его обитатели.

В четыре часа утра я вместе с батальоном прибыл

на трассу, но председателя исполкома там не было. Зато по борту в болотной жиже сидели у самого начала поймы три машины, в том числе и медсанбатовская. Под елками, нахохленные и озябшие,— мои знакомые сестрички, столь великодушно изъясившие вчера готовность подвезти меня. Желчный начальник медсанбата сказал:

— Когда медицина поспешает впереди саперов — в армии непорядок. Так или нет? Выходит — так.

— Давайте нам ваши машины и шагайте, как мы, пешком,— ответил я, не чувствуя расположения к шуткам.— Тогда в армии будет порядок.

— А машины-то не мои. Не торгую...

Проклятое место!

Чего только мы не делали — хворостяную выстилку простую, хворостяную выстилку клетками, колейный настил, выстилку жердями! И все, как только пройдет первая же машина, превращается в крошево, тонет в коричневой жиже. Пришлось разворачивать кузницу, делать скобы, пилить бревна и в наиболее опасных местах делать прочную колею. Я все удивлялся — как так случилось, что инженерный батальон построил большой мост, а о подъездных путях и не позаботился? Легкомыслие командира? Или — срочные дела в других местах? У них, у инжбата, спецтехника все же...

Притихший с утра, к обеду снова хлынул проливной дождь. Объявили передышку. Подхожу ко второй роте — намокшие, посиневшие солдаты и командиры жмутся под елями, переминаются с ноги на ногу, а елки держат дождь только в начале, потом с них каплет и течет.

— Почему не разведете костры? — спрашиваю.

— Да-а, разведешь их.

— Ни бумаги, ни бензина нету.

— Так дров-то кругом полно!

— Они мокрые.

— Ладно,— говорю,— сейчас я разведу костер с одной спички без бумаги и бензина. Хотите биться об заклад?

Охотников нет, побаиваются. И не зря. Меня жизнь в Карелии и «зимняя война» многому научили, в том числе и тому, как разводить костры,— ломаю на сосне сухой сук, ободрав мокрую кору, начинаю орудовать ножом, наскабливая султан стружек. Наклоняюсь, чтобы защитить от капли, чиркаю спичку — стружки вспыхи-

вают, от них — тоненькие сухие веточки. Через несколько минут пылают два огромных костра, все повеселели, сушатся, дивятся моему умению.

Простаки, честное слово, степняки, южане, не хватившие северного лиха. Там, на севере, не хочешь, а научишься выкручиваться еще и не из таких положений — однажды в сумасшедшую пургу застряли целым автобусом в десятках километров от ближайшего жилья, и совсем неплохо переночевали: сперва таким же образом развели костер, раскочегарили его на полную катушку, протаяли в глубоком снегу яму, затем костер уменьшили, сдвинув к середине, у краев ямы настлали еловых веток да и легли спать. Поверху свистит пурга, а в яме тепло. Но сейчас мне ни погреться, ни посушиться не дают, вызывает комиссар дивизии Сухенко. Он ждет меня на мосту, спрашивает:

— Что у тебя за разговор был с председателем исполкома?

Ага, нажаловался! На трассу не пришел, а комиссара разыскал — привык иметь дело с высоким начальством! Я рассказываю, как было дело. Комиссар, умница и обходительный человек, посмеивается:

— Ты, конечно, прав, лес рубить надо, но разговаривать с ним можно было и помягче. С какой стати ссориться?

— Да он просто бюрократ и головотяп!

— Ладно, раз жалоба есть, поедем разбираться.

Приезжаем в райисполком — никого. Хотя время военное и до вечера далеко, С. отдыхает дома. Вызываем его по телефону. Нескоро, — мы успеваем выкурить по три папиросы, — но приходит. Комиссар знакомит нас.

— Хотя, — говорит он при этом, — вы уже знакомы по телефону.

— Очень приятно! — расплывается в улыбке председатель.

— А мне — нет, — говорю я, не скрывая неприязни.

Для чего мне кривить душой? Я не могу не говорить всего, что о нем думаю, да и делу это не в подмогу, но и растекаться в деланных улыбках охоты никакой. Думаю, что если бы с ним разговаривал вчера комиссар дивизии, он бы тоже не подавал ему руки. Сегодня он, этот С., покладист, поскольку, видимо, за ночь уяснил обстановку, а вчера он чувствовал себя всевластным. Разговор опять идет о том же: что придется рубить лес,

но на этот раз С. все схватывает с полуслова и если бы нам вздумалось обглодать догола берега Хопра и Бузулука, он только поддакивал бы. И о помощи речь иная:

— Да, понимаю, военная необходимость. Быстренько обмозгуем, о чем говорить!..

И — помог. Алексеевцы — лошадьми, он — волами. Но к волам приставил девушек, эвакуированных с Украины, а своих казачек оставил дома. Тоже показатель высокой сознательности и морали! Из стрелкового полка прислали две роты бойцов, а позже артиллеристов и минометчиков — теперь работа развернулась настоящая, по всему полотну. Да оно и нельзя было иначе — как выяснилось позже, эта дорога стала основной магистралью для снабжения нескольких дивизий на Дону, никаких других путей подвоза во всей округе не было.

Вечером на берегу Хопра, слева от моста, мы разбили свой бивуак. Сколько здесь простоим, было неизвестно, но, посоветовавшись с комиссаром, я отдал приказ оборудовать землянки. Чтобы показать пример, мы решили с Запорожцем соорудить себе землянку собственными руками, без чьей бы то ни было помощи. Так же, как с костром, это было для меня делом престижа, и на лопаты мы налегали вовсю, и делали все по экономному плану: чтобы не выбрасывать лишней земли — оставили ее нетронутой там, где должны быть лежанки и стол, и накатник выложили ровно, и даже косяки дверные приспособили, и даже крохотную клумбу разбили у входа. Многие приходили посмотреть, как «сам комбат вкалывает», а когда землянка была готова, то и вовсе началось паломничество. Выяснилось, что многие не оставили нар для лежания, и пришлось не только попусту трудить руки лопатой, но еще или делать из жердей нары, или спать на земле. Рядовой Афанасенко, пересыпавший в разговоре русские слова украинскими, подвел итог:

— Ось воно, у кого котелок варит, у того и життя полегче!

— А в своем чего не сварил?

— Навчусь!..

Назавтра Запорожец произвел окончательную отделку нашего «особнячка»: на крыше белым речным песком изобразил плакат «В бой за Родину!», на балконе — а даже и такой слепил, с видом на Хопер, — нари-

совал звезду, при входе — надписи: «Берегите труд уборщицы!», «Запасной выход», «По газонам не ходить!».

Вечером рассказывал:

— Хотел на новоселье бутылку сообразить. Встретил казачку, спрашиваю: «Горючего у вас нельзя достать?» А она не поняла, говорит: «Да где уж, цистерна застряла по дороге, у трактористов прстои». Я разъяснил ей, что мы на керосине не работаем. Опять не поняла...

ЗДРАВСТВУЙ, ДОН!

При дороге, действующей уже бесперебойно, оставляем один взвод — для присмотра и ремонта — и направляемся к Дону. Зачем? Неведомо мне и непостижимо.

Хочу понять — не могу. Искать в этом военную целесообразность при том расположении линии фронта, какая нам известна, — все равно что гадать, сколько ангелов могут поместиться на кончике иголки. Если смотреть на карту, то получается, что, описав изрядный крюк, мы снова движемся к востоку, в направлении на Сталинград, но еще глубже в тыл, еще дальше и от железной дороги, и от фронта.

Осенью прошлого года я напросился в строй по тем соображениям, что немцы под Москвой и на передовой дорог каждый штык, каждая живая душа, а вышло из моей инициативы нечто прямо противоположное — несколько месяцев на курсах в Костроме, потом в глубококом тылу, в кубанских степях, а теперь вот в донских. Иногда начинается казаться, что меня, как щепку в половодье, покачивает на ряби, а все мы просто какая-то заблудившаяся, потерянная для высшего командования дивизия. Я пристально слежу за газетными сводками, пытаюсь читать «между строк», но ничего в объяснение наших эволюций не нахожу. А может быть, я сплю и все это мне снится? Проснусь — и увижу дымы над Боровском и Наро-Фоминском, желтые осенние леса и неистовое, с завыванием и визгом, роение немецких бомбардировщиков над схваченной утренними заморозками подмосковной землей? Спрашиваю комиссара — что думает по этому поводу он?

— Я из пиджака сразу в шинель впрыгнул, — говорит он. — Откуда мне знать? Главный стратег у нас ты. Вот

и объясняй! А сам не знаешь, у комбрига спросил бы, он к тебе хорошо относится.

— Спрашивал. Отшучивается. Говорит, что Сталин все забывает его на чай пригласить, а то поинтересовался бы к случаю.

— Тогда не стоит и голову ломать. Будем делать свое дело — на войне, насколько я понимаю, это и есть главное.

— Так то на войне! А мы разве воюем? Даже немецкие воздушные разведчики нами не интересуются, ни одного самолета не видели...

Так и остается доморощенная моя стратегия бесплодной. Топаем помаленьку на Реченскую, Суховский. В каждой станице и в каждом хуторе, чуть привал, нас обступают казачки, несут молоко, белый хлеб, кормят и поят бойцов, а о плате лучше и не заикаться, бранят и обижаются:

— У нас свои такие.

Удивительный все-таки у нас народ! В обычное время даже в соседстве и перелаются, и остротой прижгут, и по пустому делу жалобами со света сживут. А вот пришла общая беда — и душа нараспашку, и чужие в близкой родне ходят, и угощают от широты и щедрости сердечной, и маются в жалости к нам, хотя и самим куда как круто приходится — мужчин мало, с лошадьми туго, забрали в армию, а урожай растить надо, страна требует, райком и райисполком нажимают.

Убить таких людей можно, покорить, заставить жить по чужой воле — нельзя! Покорность вырастает из страха, из желания во что бы то ни стало спасти собственную шкуру, хотя бы ценой жизни и свободы других, а у этих людей любовь к свободе и человечность в крови и плоти, входят в понятие самой жизни. И еще — чувство общности: поранил одного — больно всем. И еще — принцип: сами передеремся — сами разберемся, а со стороны не лезь, голову открутим! На этом именно погорела интервенция четырнадцати держав, хотя наши войска были полуразутыми, полураздетыми, полуголодными, а войска интервентов вооружены и экипированы так, что больше уже оно и некуда. Принял ли это в свои расчеты Гитлер? Вряд ли. Того, о чем шла речь выше, не увидев и не испытав — не поймешь.

Ночуем в Рябовском. Хутор, — а таковым он является только по названию, поскольку на Дону любое се-

ло, каким бы большим оно не было, называется хутором, если в нем нет церкви,— из степи и заметить невозможно — весь он забрался в глубокую, с пологими скатами балку да еще укрылся густыми садами. Повара сварили ужин, но он так и остывает почти нетронутым — солдат и командиров разобрали на постой. У нас с комиссаром опасение — как соберем батальон утром? Поэтому я ложусь спать, чтобы встать пораньше, а он отправляется на рекогносцировку. Возвращается часа в четыре. Я просыпаюсь, спрашиваю:

— Загулял?

— Как видишь.

— Ну и что?

— Боюсь, как бы солдаты наши завтра на марше с ног не валились. Песни поют с казачками по садам, подсолнухи лущат. Во второй роте под гармошку пылят. Да и ночь сумасшедшая — теплынь, звезды, из степи запах — словно там цистернами одеколон разливали...

Нет, ночь проходит без происшествий, и выступаем без задержек. Но днем приходится туговато. Солнце бьет светом и зноем. Одурающе пахнет скошенный в степи пырей, дурманит. После сытного ужина и завтрака всем хочется пить, но фляжки давно пусты, а в степи воды нет. Комиссар требует от интендантов, чтобы достали воду где угодно, хотя бы на полевых станах или в бочажинах по балкам, но я запрещаю — нельзя. Один может напиться и из придорожной лужи, беда невелика, если и приболеет, а если это случится с батальоном? Никаких средств для обеззараживания воды у нас нет, у военфельдшера Зотина всего-то имущества, что пара бинтов, пузырек йода и несколько пакетов аспирина.

— А я бы напился,— говорит комиссар.— Жжет.

— И тебе запрещается. А попытаешься — твоему начальству доложу. Дружба дружбой, а служба службой...

Мне и самому хочется пить. Помню, в юности я пахал клин под гречиху в дальнем поле. Вокруг ни души, жарища и пыль, пить хочется нестерпимо, а вода, которую взял из дома, кончилась. На дороге в низинке, прикрытой тенью от кустов крушины, в глубокой колее нашлось немного воды, теплой и густой, как кисель. Приспособился — тянул через полу льняной рубахи. Часа через полтора вывернуло наизнанку рвотой, не до пахоты — еле домой доехал, да еще три дня катался и стонал от

нестерпимой рези в желудке. Мать отпоила какими-то травами.

Значит, терпи, казак, атаманом будешь! Но, что ни говори, и тяжело же в этой полдневной степи с ее зеленым и серебряным свечением, с мерцающим воздухом и дымным, в сиреневый оттенок, горизонтом! В брянские наши леса бы с их тенью, ровным успокаивающим шумом, с прозрачными ключами и ручьями! Лес — самое лучшее и самое близкое человеку произведение природы. Именно в лесу и с помощью леса он стал тем, что есть. А потом уж, применив силу разума, расселился в степи и пустыни...

Трудно дался батальону этот степной марш по жаре с безветрием. Солнце убойно палит виски, чистым воздухом дышит только первая шеренга, остальные глотают пыль и пылью же, превращаясь в маски, покрываются лица. На горячей дороге от пота раскисают ноги. Степь красива, ничего не скажешь — зеленая с серебристым отливом под совершенно голубым бескрайним небом. Иногда вдалеке кружит коршун. Но до красоты ли, когда жжение сверху, снизу, по спине и до крика, до стона хочется пить? Честно говоря, у меня душа была не на месте, очень опасался каких-нибудь происшествий, однако обошлось.

Вечером остановились в хуторе Нижне-Ушаков. Так как предстояла только ночевка, а никаких канцелярских сложных дел не предвиделось, то в штаб был превращен небольшой садик, густо поросший дикими вишнями. И немедленно сюда потянулись многочисленные делегации усть-ушаковских казачек с просьбой отпустить к ним в гости командиров и солдат.

— Наши тоже воют, — говорили они, — все мы свои люди...

Я с помпоматом Запорожцем и двумя командирами рот пошел в гости к старому казаку Макару Васильевичу (фамилии так и не запомнил). В чистой горнице было прибрано, как к празднику. Ужин на славу, с бутылкой вина. Макар Васильевич рассказывал, очень скромно, впрочем, как он сам «ходил на немца». Собрались девчата, играли на гитаре, немного пели. Особенно хороша была типичной красотой хозяйская дочка — среднего роста, прекрасно сложенная, с ярким лицом и губами, чуть туманными и влажно карими глазами, с «шолоховской» речью, в которой то и дело встречаются «чирики»,

«кубыть», «ништоли». Она казалась нам как бы живым воплощением молодой и озорной Аксины, как та описана у Шолохова. И нечего скрывать, не один из моих командиров, глядя на нее, вздохнул, не у одного затуманились глаза...

Спать нас, по случаю великолепной погоды, уложили в пристройке. Там были две кровати, ларь с мукой, бочки с ряженкой, на стенах висели связки лука и какие-то травы. Где-то пел сверчок. Пахло домашним уютом, полем, сельским детством. И при том ни на мгновение не оставляло ощущение, что все это вроде и не совсем в натуре, а из шолоховских романов. Что значит пронзительное до зримости и точное письмо! Перед сном снова разговорились. Запорожец сказал:

— Мне нынче вдвое легче стало — вижу, что даже если у интендантов промашка выйдет, батальон здесь голодным не будет. А вот дорога и во сне кричать заставит. Это ж сколько от станции, вдруг патроны и снаряды возить, а тут заждит...

— При чем тут патроны и снаряды, если фронт черт знает где?

— Мое дело о своем думать,— парировал Запорожец.

Утром политзанятия, солдаты сидят на травянистом бугорке, слушают информацию. Появляется казачка с большим противнем пирожков:

— Можно мне погутарить с казаками?

Политрук не в состоянии сразу оценить ситуацию, мнетя, а казачка приступает к делу, раздает пирожки. После я рассказываю об этом комиссару Шульжику. Он тоже не сразу находит оценку происходящего, но вдруг говорит:

— А может, это тоже политработа? Воспитывает. Вдруг да в бою вспомнится — как же отдавать немцу землю с такими людьми?

Резон есть. Пусть своим политрукам объяснит.

НАЧАЛО

База батальона — хутор Гороховский неподалеку от Вешенской. Небольшой, из одной белесо-песчаной улицы. Кажется, стоит на границе придонских песков, дальше начинается черноземная степь. Небольшая школа, хаты в садах и окружении огородов, плетни, за хуто-

ром и на подходе лески. Роты строят землянки неподалеку от пруда, в который впадает небольшой ручей с ледяной водой,— прежде была тут водяная мельничка. В землянки заползают и маленькие черепахи.

На следующий день посыльный привозит приказ — отремонтировать дорогу до станицы Вешенской. А она и действительно так себе — на волах потихоньку ездить, да и то тяжело, перелизана песками. Впервые вижу Дон — мощнейшая река, с быстрой зеленоватой в полуденном солнце водой, вольно летящей на стремнине и скрученной воронками в омутах. По берегам — кустарники с колючим сухостоем, перевитые ежевикой и дурнотравьем, раkitник, плакучие ивы, серебряные облака осокорей. Противоположный берег за каймой леска лезет ввысь холмами, белеет пятнами меловых круч.

Здесь, кажется, скучать будет некогда — в первый же день рекогносцировка на Пигаревку, Чинганаки, Дубровский, осмотр моста, старого и единственного в этом районе, разговор с дивинженером. Первые тревожные известия:

— Точно и в подробностях сказать тебе ничего не могу, но есть сведения, что наше наступление под Харьковом к существенным результатам не привело. Немцы контратакуют крупными силами, положение напряженное. Не исключено, что перейдут в наступление.

— От нас это очень далеко.

— Далеко. Будем надеяться, что все обойдется...

После беседы за ужином я ушел в химроту, которая стоит по соседству, взял у Краснова бурку и уснул в сарае. Утром узнал — приезжал кто-то из армии, была учебная тревога, но ничего интересного не произошло.

Полки дивизии окапываются по берегу Дона, но фронт для дивизии настолько широк, что это не поддается никакому объяснению. Впрочем, хотя это рождает тревогу среди населения, мы относимся к этому совершенно спокойно,— и население успокаиваем,— ведь бои идут далеко! Пользуясь тем, что боеприпасы все прибывают, накапливаются, проводим учебные стрельбы — раньше, на Кубани, у нас не было оружия, теперь есть. И в связи с тем, что вооружены, наводится жесткая дисциплина. И все, от командиров до солдат, понимают, что иначе нельзя. Высказываю своему комиссару мысль, что, видимо, тут и само оружие обязывает. Он похихивает:

— Нашел топор за лавкой! Я штатский больше, чем ты, а еще раньше уразумел... Только учти — и с меня, и с тебя тоже теперь спрос побольше. И нас обязывает, вот так...

Из Вешенской позвонил дивинженер Домикеев — теперь у нас есть телефон.

— Приезжай.

— Зачем?

— Как приедешь — так и скажу...

Домикеева застал в штабе, в бывшей школе недалеко от дома Михаила Шолохова.

— Пойдем ко мне на квартиру, — предложил Домикеев. — Там и поговорим.

Высокий, мускулистый, загорелый до черноты, он был по-обычному спокоен и добродушен, и я решил, что приглашение так, от скуки, посидеть да побалакать.

— Расскажи о батальоне, — велел Домикеев. — Как дела, какие настроения? Как стреляют и минируют?

— Систематически о том докладываем.

— Хочу послушать... И без прикрас!

Что-то тревожное почудилось мне в таком начале разговора, но вопросов задавать не стал, кратко рассказал — учимся, стреляем, хозяйство в порядке.

— Случилось что-нибудь?

— Случилось... Не у нас, а дальше, на фронте. Положение резко и неприятно изменилось. Возможно, что скоро нам придется воевать всерьез. Тут, на Дону. Ты, по совести говоря, вполне спокоен за батальон?

— Никогда спокойным не бываю, — замялся я.

— Понимаю. Учти, первый бой так потрянет, что все швы на живую нитку расползутся. Политработники твои — ребята боевые, сами в огонь и воду полезут. Но к политработе добавил бы ты от себя — поговори с солдатами, поодиночке или группами, расскажи, да попроще, с шуточками, как бывает под бомбами и снарядами...

— Я и сам об этом маловато знаю.

— Много и не надо... Ну, расскажи вот, как, например, идет на тебя немецкий самолет, как воет и свистит, да еще, может, трещотку какую заводит, и ты по первости, хоть и в бога не веруешь, даже молиться готов — пронеси, господи, пронеси, господи... Ну а если бомбы южат, так кажется, что все прямо в тебя нацелены... А потом глядь — они, бомбы-то, все в сто-

рону или мимо, и кто в щели сидел, целы-целехоньки. Видел это?

— Видел.

— Так и Расскажи, как видел. В других частях это бывалые солдаты сами делают, а у тебя бывалых нет. А ведь помогает. По своему опыту сужу. Без малого год назад, в первый день войны, проклятые фашистские шарманщики-пикировщики психически подавили батальон, еще и убитых ни одного, а люди пятиться стали. И вдруг по окопам слух пошел: «Немцы нашу уборную разбомбили, противогазы надевают!» Остроумие так себе, но покатались смешки, «оттаивать» от страха солдаты стали, плотнее залегать... И ничего, когда появились автоматчики, не пропустили...

Неторопливо, с улыбочкой рассказал Домикеев и еще несколько смешных историй, дал множество практических советов — у него был большой опыт, отступал от границы, выходил из окружений. Вроде пустяковый шел разговор, с пересмешками и воспоминаниями, но мне пришлось многое «взять на заметку». А вся сущность разговора, как прорисовалось это в конце, сводилась к тому, чтобы не только «политический», но и «психически» подготовить солдат для боя.

— Потом привыкнут, сами над «дребезгом нервов» посмеиваться будут, а сейчас поработать бы, провести воображением через реальный бой...

— Непростое это дело.

— Я и не говорю, что простое. Соображай.

— А что же все-таки случилось на фронте? В сводках пока ничего особенного нет.

— Это ты узнаешь на совещании командиров частей... Кстати, был я у вас в роте на занятиях политрука Б. О том, сколько немцы захватили, о злодеяниях рассказывал, призывал умереть за Родину... По-моему, напугал солдат. А зачем умирать? Нам воевать надо получше...

Так я и не понял — не то укором был этот разговор, не то уроком, но вернулся в батальон встревоженным. Во многом прав был дивинженер, упустил я что-то, надо завтра же наверстывать...

Но завтра начинался новый день нашего бытия.



II. ОТ ДОНА ДО ДОНЦА

7.7.1942

Совещание комсостава дивизии в Вешенской, в деревянном здании школы.

Генерал-лейтенант В. Кузнецов, низенький, рыжеватый,— или так кажется от света, бьющего через окно,— ходит за длинным столом, застланным вместо скатерти белой бумагой. Отчитывает нас вовсю от имени высшего командования. Действительно, есть за что, подболтались, и презрительно.

Но главное — не в этом.

Главное — ставит задачу. Обстановка на Юго-Западном и Брянском фронтах неблагоприятна. Нам приказано — держать Дон любой ценой.

— Вы — солдаты, и как солдатам говорю: либо немцы будут здесь остановлены, либо они пройдут, но не раньше, чем все мы умрем. Ясно?

Разумеется...

Ночами грохочет артиллерия под окнами квартиры, в которой мы помещаемся с помощником по материальной части Запорожцем. Хозяйка, старая казачка, утром жалуется:

— Страсти господни! До свету гомонит и гомонит.

— Это вот он виноват, капитан,— кивает на меня Запорожец.

— А чем плохо? — спрашиваю.— Движение — как в Москве.

— Это он еще только дорогу исправил,— зубоскалит Запорожец,— а скоро трамваи будут.

— Да что вы? — удивляется казачка.

Трамваев-то она еще никогда не видела... А прибытие артиллерии на Дон ей непонятно — немцы ведь далеко? Да и нам самим тоже странно все это.

В десять часов утра батальон понес первые потери — двое убитых. Немцы бомбили мост. Мост цел, но саперы не успели добежать до щелей, вот и накрыло осколками.

В четырнадцать часов — снова бомбит группа из восьми самолетов. В Вешенской что-то горит. Между прочим, вчера сюда приезжал М. Шолохов — запыленный, в пыльной машине. Перед самым отъездом, остановившись на дороге в хутор Гороховский, разговаривал с командирами и солдатами. О чем — я узнать не успел, спешка такая, что земля под каблуками кажется раскаленной.

С той стороны на мост шли всю ночь и сейчас идут машины и разбитые части — отступление. Люди черны от пыли и грязи, но даже в Дону им ни помыться, ни напиться — прочь, скорее прочь! Переправа в такой ситуации — страшное дело...

Перед вечером: убиты сержант Худяков, красноармеец Лупиногин, ранен (оторвало ногу) красноармеец Кучма. В следующий налет среди наших жертв нет, но сильно попорчены три пролета моста. Это горшая из бед — надо чинить, и скорее, скорее...

Взгляд из дня сегодняшнего.

Странное свойство у памяти — когда я теперь представляю те давние происшествия на Дону, я невольно снова и снова погружаюсь в анализ: почему получилось так, а не иначе, что было хорошо, какие просчеты?

Да, мы не доучились. Для успешных действий в бою некоторые навыки солдат и офицеров должны доводиться до автоматизма. Речь тут, конечно, не о принятии решений на какие-то действия, более или менее протяженные во времени, а о поведении в ситуациях критических, мгновенных.

Двое убитых и один раненый на переправе в первую же бомбежку — это горькая цена за неподготовленность, элементарную растерянность. Я расспрашивал у очевидцев, как произошло? У въезда на мост были отрыты щели, правда, они могли быть глубже, лучше, но все же. Бомбежка не была внезапной — и самолеты были замечены издали, и намерения их не вызывали сомнений, и бомбили не «с ходу», а выстраивались в «карусель». Но в том-то и дело, что некото-

рые солдаты не сразу побежали в щели, некоторые стояли и «любопытствовали» — ну, мол, и что это такое, и что будет? Большинство все же укрылись к моменту, когда пошли бомбы. А Худяков, Лупиногин и Кучма так и стояли в растерянности и недоумении, пока бомбы не стали рваться. А тогда уже было поздно...

Я посоветовал политрукам и приказал командирам немедленно, в ночь, рассказать в ротах и взводах подробно, как все произошло, почему. Один из командиров выразил сомнение — стоит ли, может, только напугаем? Я остался при своем мнении — убитых не вернуть, но надо сделать все, чтобы за недостаточную подготовленность жизнью не платить. Позже это стало у нас правилом — подробно разбирать действия в критических ситуациях. Возможно, что это принесло свои плоды: потери у нас были меньше, чем у других.

10. 7. 42

Началась игра в кошки-мышки.

Утром немцы прилетают и разбивают мост.

Днем и вечером мы его чиним.

Перед утром идут отступающие машины и танки.

Утром немцы прилетают... Словом, все начинается сначала.

Кучму, раненного при бомбежке на переправе, добило в госпитале. В Вешенской разрушения — жители ушли почти все. Орлы мои хорошо перенесли боевое крещение и самоотверженно борются в неравном поединке.

Из-за всех этих дел больше суток не спал — днем был на Дону, на переправе, вечером в штабе дивизии, ночью, когда собирался спать, вызвали на КП — нужно провести разведку дорог и мостов по направлению на Слащевскую на Хопре. Поехал с отделением Ситников.

11. 7. 42

В десять, четырнадцать, шестнадцать, перед вечером снова атаки бомбардировщиков — шестерками, девятками, дюжинами. На этот раз по мосту, через который с правого берега на левый густо хлынул поток отступающих — люди, обозы, машины, тягачи, тракторы. Исхудавшие, обросшие щетиной, в грязном или изорванном обмундировании, черные от копоти и пыли, с нервами на предельном взводе, солдаты и офицеры

так спешили переправиться, что никто не осмеливался умыться или напиться в Дону. Смотреть на это было тяжело, страшновато. Но что хуже — расходясь веером после переправы, поток отступающих катил на неопытные наши части волны неуверенности, сомнений в собственных силах, сплетен, слухов, догадок, фантазий. Никакими словами, наверное, не передать и не оценить в полноте того, что делали, опираясь на коммунистов, комиссары и политруки — они днями и ночами пропадали в подразделениях, откровенными, без общих фраз беседами с группами, группками, один на один с солдатами снимали накипь нервного напряжения, обнажали вздорность слухов, порой провокационных, учили видеть обстановку такой, какой она была на самом деле.

Командир дивизии прикрыл предместье по высотам у Базков батальоном пехоты, но на переправе легче не стало — атаки нарастали, продолжались с утра до вечера. И не было защиты — две маломощные зенитки, реквизированные у отступавших, «тявкали» без пользы, бомбардировщики шли на небольшой высоте.

12. 7. 42

Кровавые дни. Снова бои на переправе. Снаряды с самолетов попали в мост, он был подорван и загорелся. В Дон провалился тяжелый танк. У переправы сбились в лесу под Базками сотни машин — грузовики, тягачи, танки. Следующим заходом группа немецких бомбардировщиков ударила по машинам — стояли вприценку. Начали рваться снаряды, дым и грохот весь день... Шоферы снимают с обреченных автомобилей камеры и плывут через Дон в Вешенскую.

Мои саперы пошли в это базковское пекло с намерением взять несколько уцелевших автомобилей — в нашем хозяйстве они нужны очень и очень. Машин подходящих оказалось еще много, но — не на чем переправить.

14. 7. 42

Во второй половине дня тринадцать пикировщиков произвели на мост атаку и разбили один пролет. Движение прекратилось. А степь пылит и пылит!

До полуночи восстанавливали мост. Дон здесь очень глубок, забить сваи без специальных приспособ-

лений невозможно, а понтонов нет. Разрыв заштопали на живую нитку, все держится, по существу, на одной свае, но другого выхода нет, надо возобновлять движение. Сперва пустили легкие машины, потом покрупнее. Страшно смотреть, как раскачивается наше импровизированное сооружение, но — держит. Капитан Домикеев машинально вытирает рукавом гимнастерки лоб:

— Знаешь, так рисковать можно только один раз в жизни... Ты представляешь, что будет с нами, если сейчас эта проклятая свая расшатается и завалится набок?

Догадываюсь, но о таких вещах лучше не думать.

Начинает рассветать. Мы сидим на левом берегу Дона, на песке. К нам подходит лейтенант. Голова его не покрыта, лицо грязно, а в руках мнет танкистский шлем. За ним — боец из экипажа.

— Пропустите нас? — спрашивает лейтенант.

— А что у вас?

— КВ.

— Исправный?

— Пушка разбита... Если бы исправный, мы бы еще погуляли, мы бы еще дали прикурить кое-кому! Пушка разбита...

— Не пустим, — решительно говорит Домикеев. — Не можем рисковать.

Лейтенант опускается рядом на песок, пытается вертеть папиросу, но руки дрожат и табак высыпается. Он с бешенством отбрасывает бумагу и долго, страшно ругается.

— Куда нас загнали! — почти стонет он. — Куда загнали!

Скупые слезы текут по грязным щекам, он не вытирает их, наверное, даже не замечает. Посидев так несколько минут в полном молчании, он поднимается и уже более спокойным голосом, в котором, однако, звучит непередаваемая горечь, говорит:

— Разве я не понимаю, что нельзя? Я видел, на чем у вас держится эта штука — на честном слове... А все не верится, что в тупик загнали.

И, обращаясь к своему подчиненному:

— Пошли пулеметы снимать!

Только-только показалось солнце. Первые его лучи упали на плоский песчаный берег и воду, на ней кое-где еще отливают бронзой сазаны, оглушенные в вер-

ховьях. Ломая молодые деревья, с опушки, густо омытой росой, выползает серая громада КВ. Вот он выходит на прибрежный песок. Водитель включает первую скорость, выпрыгивает на ходу из люка, как лунатик, вероятно, не понимая, зачем и для чего это делает, идет рядом, пока вода не поднимается выше коленей... Затем останавливается, вздрогнув. Ревя мотором, разводя волну, танк медленно скрывается в зеленых волнах Дона...

Я смотрю на Домикеева. Его дочерна загорелое, словно точеное лицо похоже на каменную маску, глаза устремлены неподвижно на серебящуюся поверхность реки, рука механически шарит кисет на песке. И мне вдруг начинает казаться, что нет на свете ничего страшнее молчаливого горя мужчин.

— Весело начинается день,— говорит он.— Пойдем, мы больше здесь не нужны...

Ослепительное солнце, палящий зной, тучи песчаной пыли и дыма, визг буксующих в песке машин, рев самолетов и треск фугасок. На окраине хутора наблюдаю картину — у обочины, густо покрытой пылью, сидит раненый боец, поднимает руку, прося шоферов подвезти... Но тех подстегивает страх, они проносятся мимо. Выхожу на дорогу и пытаюсь остановить очередную машину сам — куда там, бросается, как бешеная, в сторону и исчезает. Следующая повторяет маневр, тогда я, осатанев от ярости, бью из пистолета по кабине... прямо по кабине, потому что сидящий там мне в эту минуту ненавистен. Нельзя нам ошалевать от страха!

16. 7. 42

Ну и дела! Девятая саперная, два батальона стрелков и гвардейский истребительный, все еще находившиеся на том берегу Дона, на высотах вокруг Базков,— отошли. Саперы нашего батальона обеспечивали переправу — эвакуацию на наш берег — третьего батальона восьмьсот двадцать восьмого полка из района Базки—Ольшанская.

Наши части оставили Миллерово.

Кругами идут волны паники. И смех и горе с во-
яками.

У себя на квартире застал неизвестного майора — и задержал. Сначала он ершился, но я приказал по-

малкивать и привел в свой штаб. Сидит, видно, как дрожат руки.

— Как же вы воевали? — спрашиваю.

— Нам приказали занять оборону.

— Ну?

— Заняли.

— А потом?

— Потом сказали, что на левом фланге наши отходят.

— И что же?

— Мы тоже решили отходить.

— Потом?

— Потом все перепуталось, и с тех пор бежим без оглядки. Говорят, что кругом немцы.

— А вы их видели?

— Нет...

Просим сдать оружие и отпускаем.

Страшна и обывательщина с длинными языками. Идут две женщины. Спрашивают у нашей хозяйки шепотом:

— А вы чего не бежите?

— А то!

— Да тут же кругом немцы.

— Не видели мы их.

— А вот с переправы идут... Это ж все немцы.

— Да они же разговаривают по-нашему.

— Какие разговаривают, а какие и нет.

— Как же, вот у нас командиры стоят уже давно...

Они что же?

Подумали. Заключили:

— Тоже, должно, переодетые немцы...

* * *

Обстановка — как бы это сказать поточнее? — нервная. Во-первых, через наши боевые порядки все еще продолжается отступление частей, разбитых или дезорганизованных в излучине Дона. Машин уже нет, что не успело переправиться, сгорело или разбито в лесу у Базков — немцы наконец нащупали их скопление и нанесли жесточайший удар с воздуха. Сколько было самолетов, никто не считал — шли эшелонами около часу. А в лесу были машины со снарядами и минами, с горючим, некоторое количество танков с дефектами.

Грохот, огонь, деревья, взлетающие вверх корнями... Пекло это трудно представить и невозможно описать.

Говорят, погибло около тысячи разных боевых и транспортных единиц. Приблизительно, конечно,— кто мог вести точный счет?.. Теперь через нас скатывается последний поток «пеших» — тех, кто пересидел катастрофу в лесках или подошел позже балками и ложками и теперь переправляется через Дон на самодельных средствах — с помощью досок, корчей, бревен. Можно представить их вид, рваное и мокрое обмундирование, заросшие щетиной лица, голодные глаза, их сбивчивые рассказы. Мягко говоря, нашим необстрелянным по-настоящему войскам это бодрости не прибавляет...

Подводя черту переправе в Вешенской, немецкая авиация, которой становится все больше, перенацеливается на нас. Видимо, положение наших штабов, узлов обороны неизвестно, и они бомбят хутора, станицы, лески. Днем и ночью. И сбрасывают разведчиков — уже нескольких выловили. Бомбят и нас в Гороховском, грома и огня до черта. Хорошо — ни одна бомба не попала в щель, у солдат оптимизм — земля-матушка спасет. Теперь, чтобы копать щели и землянки, не надо ни строгих приказов, ни надзора — лопата осознана в качестве оружия!

И при всем том — у нас неприятное происшествие, второе в этом роде, но более серьезное в связи с обстановкой. Часовым на крыльце у штаба был поставлен рядовой Г. История того, как попал он в батальон, любопытна. В каком-то городе под Ростовом жестоко бомбили тюрьму, заключенные стали шуметь: «Не хотим помирать зря, берите в армию или переводите». Злостных с тяжелым прошлым куда-то увезли, остальных, в первую очередь молодых, зачислили в армию. Несколько попали к нам, среди них и рядовой Г. — был не первой спицей в какой-то шайке жуликов и мелких грабителей. В батальоне пока ни в чем плохом замечен не был, впрочем, и в хорошем тоже — трудно прижился, неуютно себя чувствовал.

И вот его поставили часовым у штаба. А он оставил винтовку у крыльца и ушел «к девкам» — по его выражению. Еще и его ухода не обнаружили, как началась жестокая ночная бомбежка, а потом в расположении батальона задержали шпиона. Беглеца Г. нашли

только на следующий день уже за хутором, хотя он клялся, что сам не помнит, как туда попал. Дескать, перепугался.

Решали с комиссаром, что делать? Заявить в трибунал — это расстрел, поскольку не только покинул пост у штаба, но и дезертировал. Но ведь молод, красив, глуповат, не обтесался... Долго дымили папиросами, решили — в трибунал дела передавать не будем. Используем мои командирские права — восемь суток строгого ареста с отсидкой на хлебе и воде. М. Шульжик доложил комиссару дивизии Ф. Сухенко. Тот сказал:

— Вы отвечаете за батальон — вам и решать... А что будет — поглядим...

Из нынешнего дня добавлю: отсидел тогда свое рядовой Г., хорошо воевал, вернулся с орденами, после войны приезжал в Москву, и я — сам за рулем — ездил с ним по клиникам добывать редкое по тем временам лекарство...

Фамилию рядового, конечно, помню, но не называю по понятным причинам.

17. 7. 42

Кусочек приказа по дивизии:

1. Всем частям дивизии ценой жизни удерживать за собой левый берег р. Дон...

2. Огонь ближе чем на 100 метров не открывать. Врага надо бить наверняка, в упор. Патронов и снарядов на это дело не жалеть.

Огонь вести только тем точкам и подразделениям, на которые лезет враг, — остальным молчать...

* * *

Последний — НАТИ. Куликов Иван Павлович, электрик 124 ПАХ, пришел из-за Дона и сам попросил оставить его в батальоне.

— Может, вы уйдете лучше, оставив трактор? Смотрите, там немцы, — показал я рукой на донские кручи у Базков.

Он даже не обернулся:

— Я их видел и ближе... А на тракторе работаю полтора года...

Этот НАТИ был последним, переправившимся с той стороны. НАТИ Д-1-18.

Комбриг разрешил оставить его у себя...

Такова дословная запись в дневнике. Подробнее я об этом писал в книге «Белый ангел в поле».

ПАХ — это армейский хлебозавод. В беседе Куликов рассказал, что их часть расшвыряло где-то неподалеку от Северного Донца (кстати, сейчас его называют Северским, а тогда и называли и на карте обозначали Северным). Он в одиночку отступал через донскую излучину на Вешенскую, одно время тащил пушку, потом его отпустили — не было нужды. Он заправился в Базках, сунулся в лес к переправе — не пустили. После разгрома авиацией не успевшей переправиться техники двинулся вдоль Дона к Нижнекалининскому, там в лесу, не занятом немцами, хотя они уже вышли к Дону, двое суток делал плот и самостоятельно переправился чуть выше Лебяжинского. Очень боялся — свои расстреляют при переправе, но была одна автоматная очередь «в белый свет»...

По-разному вели себя солдаты — я уже рассказывал о шофере, который не хотел подобрать раненого, неся в тыл с белыми от страха глазами. А тут — трактор переправил под носом у немцев. Не сразу поверили ему, но — проверили. Все верно. И отказался Куликов двигаться в тыл, попросил оставить вместе с трактором в батальоне...

Очень помог во многом нам его трактор! К зимнему наступлению износился, заменили трофейной машиной.

Куликов дошел до Вены. После войны жил в Сухуми.

30. 7. 42

Соседка бывшей нашей хозяйки — мы теперь живем в землянках — рассказывает:

— Мужа я в зятя приняла с Елани-Терновой... Вот назавтра спрашивает: «Чего это верeya повалилась?» А я ажник в толк не возьму — о чем гутарит? Жду... «Бери, говорит, лопату, пойдем ставить». Беру. Иду. Смотрю, а это — стоян у ворот. — «Так, говорю, какая же это верeya, стоян это».

— «Нет, верeya».

— «Нет, стоян».

— «Верея... Ничто не понимаешь?» Так и поссорились в первый раз...

Когда после войны я опубликовал главу из книги «Расстрел на рассвете», на меня яростно накинулся один из критиков. Самой возможности расстрела по решению трибунала он не отрицал, но считал, что этого делать не следует, а тем более об этом писать. Почему? По моральным соображениям — это может служить воспитанию жестокости.

Меня такая точка зрения ставила в тупик: у нас каждый день убивало людей, которые ничем ни против кого не погрешили. Может быть, лучше бы критику обвинять эту жестокость? Нет, этого он не касался. И еще — если было, зачем это скрывать? Историю не надо ни подчищать, ни замалчивать — ее надо объяснять. К чему же призывал критик — к замалчиванию правды? К отвлеченно-лакировочному гуманизму? По правде говоря, я и поныне не понял позиции критика, фамилии которого не упоминаю сознательно, — и дело давнее, и никому она ничего не скажет.

А был ли расстрел?

Был. И в книге я его описал точно.

Расстрелян был комбат Щ., который фигурировал в моих записках и прежде по малозначительным поводам. Мне кое-что в нем не нравилось: наигрыш в разговорах, самолюбование, немалая доля цинизма в отношении к службе, людям, делу. Но он был для меня и примером выправки, лихости, несомненного знания военного дела. Интересная, но противоречивая натура.

Чем провинился?

Когда мы вели тяжелейшую, с жертвами, борьбу за живучесть переправы в станице Вешенская, его батальону была поставлена задача удерживать от внезапного удара немцев высоту на правом берегу Дона, за Базками. Прорвись туда немцы внезапно, у нас были бы неисчислимые жертвы и потери орудий, танков, машин. Просто трудно представить весь урон, который бы понесла дивизия, особенно с учетом того, что вместе с волной отступающих из донской излучины накачивались и волны панических настроений.

Немцы тоже хорошо понимали значение высоты и при первой же возможности атаковали ее силами до двух рот солдат с несколькими танками. Но комбат

Щ. хорошо руководил боем и атаку с немалым уроном для немцев отбил. Это было около одиннадцати утра, а уже к вечеру все в дивизии знали и высоко оценивали действия батальона. Это была первая встреча с противником лицом к лицу и, окончившись победоносно, вдохновляла.

Но комбат Щ. не довел дело до конца. Никто не понимал, как взбрело ему в голову отметить этот первый бой загулом.

Он оставил вместо себя заместителя, а сам переправился на левый берег Дона, закатился к знакомой молодой вдовушке и запьянствовал. Около полуночи его отыскал кто-то из политработников полка, пытался вразумить, вернуть в батальон, но комбат Щ. выхватил пистолет и тяжело ранил несколькими выстрелами политработника. И ушел спать на сеновал, а политработник еле выполз на улицу и был подобран патрулем. Но дело тем не кончилось. Перед утром немцы снова атаковали батальон, в котором комбата не было. Батальон с трудом отбился, но понес тяжелейшие потери. Заместитель был молод, малоопытен, удар прозевали, управления боем не получилось, командиры рот действовали по своему усмотрению, разрозненно.

За это комбата Щ. и судили. В небольшой деревянной школе хутора Гороховского. Были на суде и командиры, я в том числе. Щ. сидел какой-то погасший, равнодушный, на вопросы отвечал вяло, невнятно. Его присудили к расстрелу и расстреляли. Утром, перед восходом солнца, до того, как начинала свою свирепую работу немецкая авиация.

Меня этот расстрел потряс, думаю, и других командиров тоже. Во всяком случае, когда начали засыпать неглубокую могилу посреди небольшого лужка и была подана команда разойтись, все немедленно разошлись, не обменявшись ни единой фразой о происшедшем.

Да и о чем могли бы мы говорить, если не считать общих слов? Все было страшно и ясно. А впереди у каждого — длинный день со сложными и опасными делами...

Просмотрел свои записи сейчас — об этом ни строки. Нельзя было. Но сколько раз я обращался памятью к тому утру в хуторе Гороховском! Даже однажды, спустя много лет после войны, ездил туда, хотя, конечно, никаких там следов не осталось. Но вот что

невольно выступает ныне на первый план, не приводя, между прочим, ни к каким выводам. Во-первых, позже у нас в дивизии не было ни одного подобного или схожего случая. Во-вторых, никто никогда не вел никаких разговоров об этом суде и расстреле. Даже после войны, на встрече ветеранов. Только в сорокалетие Победы, когда я его спросил об этом, бывший командир полка Андрищенко сказал кратко:

— А ведь мог дойти до конца войны... Другие комбаты дошли, например бывший комбат Суетин.

Много трагедийного на войне.

2. 8. 42

Приказ № 227, мотивирующий и обвиняющий, горестный и жестокий, был зачитан во всех подразделениях. И породил немало суждений. Старший лейтенант Борисов, командир роты в нашем батальоне, сказал мне, когда мы лежали на берегу Дона, наблюдая за оборонной немцев в районе Рыбного:

— Приказ этот, товарищ капитан, для нас ничего не меняет. У нас и так задача — стоять насмерть. Разве мы не понимаем?

— А может, кто и не понимает.

— Конечно, люди разные бывают... Так научились уже.

Майор Домикеев, дивинженер:

— В самое время приказ. Тут что главное? Поубавить всякие рассусоливания.

— Именно?

— Да вот и сам иногда думал — ну, прижмут, хоть помирай, так зачем помирать? Отойти немного и опять дать по зубам. Опять же — народу у нас много в тылу, там пушки делают, пулеметы, автоматы... Стало быть, отошли мы, немного земли потеряли, так ведь силы растут, и мы, как живые будем, тоже повоюем... Вроде выгода. Я вот сам от границы отступал, а опять в бою. Ну, после этого приказа такими мыслями голову набивать не станешь...

Сержант Юрченко:

— Приказ, товарищ капитан, в самый раз. Без приказа как получается? Так прикинешь, по-другому прикинешь, в голове путается. А как приказ — об чем речь? Только и думаешь, как его половчее выполнить, чтоб, значит, и в трату зазря не пойти, и дело сделать.

— Помирать-то страшно.

— Так война же... Разве угадаешь, где что? У нас вон двое в тыл поехали разные саперные причиндалы получать, шнуры там и детонаторы, так их бомбежкой накрыло. А мы со взводом под Серафимовичем в тылу у немцев на перекрестке мины под их танки совали — и ничего, все живы... Тут, значит, никак не разберешь, не угадаешь. Или вот при артобстреле — лежишь в ямочке какой, землю носом ковыряешь, ветер от взрывов гимнастерку задирает — глядь, пронесло. А кто побежал, не выдержал нервами — скосило... Значит, с пониманием, ухватисто надо...

В общем, приказ приняли как должное. Тем более — по дивизии схожий уже был.

Много воды утекло в Дону.

Знойные, томительно-золотые дни стоят в степи. Небо чисто с утра и под вечер, в полдень плывут, как стаи белых птиц по синему озеру, легкие облака, роняя летучие тени на балки, рощи и займища. В левадах пахнет сеном, леса подсолнухов смиренно склоняют головы по огородам. Казачки, которых так и не удалось оттеснить с переднего края, выселить из станиц и хуторов, — днем их, случалось, вывозили машинами, а ночью они возвращались тоже попутными машинами или пешком, — казачки угощают нас варениками и медом, чаем с душицей и чабрецом, огурцами и молоком, а бывает, что и дымкой своего изготовления.

Созрела и сыплется пшеница. Кое-как убирают.

А над Доном с утра до вечера ухают орудия, бьют минометы, стучат пулеметные очереди. Тяжелые силуэты немецких самолетов скользят по розовым скатам, поросшим чабрецом, и пятисоткилограммовые бомбы взмывают столбы дыма и пыли.

* * *

Отчаянный все же народ — молодые казачки.

Немцы занимают правый высокий берег Дона. Но у хутора Лебяжинского Дон делает излучину, хутор и от реки отделен леском и кустарником, и на противоположном берегу чаща из невысоких деревьев и кустарников, и потому пулеметы с той стороны не достают. Может быть, оттого, что прямой опасности не ощущается, отсюда никак не удаётся выселить молодых

казачек — отвози их в тыл, не отвози, все находят пути домой. В лесу стоит батарея, там есть баянист, вечерами ходят туда на танцы. Конечно, при этом у всех «ушки на макушке», настоящего «разворота» нет, но — ходят.

Хорошее, чистое утро в Лебяжинском. Кое-где слева и справа погромыхивает, бьет артиллерия, но тут тихо. Две молодые казачки выносят патефон на погребницу, заводят пластинку. Мы с сопровождающим меня рядовым Кочубеем видим это, он не выдерживает, кричит:

— Эй, вы, с ума посходили!

Смеются, машут руками — давай к нам.

Но музыка слышна и на том берегу. И на нее откликаются минометы — в улице треск, пыль. Казачки ныряют в погреб, а пластинка крутится, патефон на погребнице делает свое дело. В обстреле пауза, из погреба головы, крик:

— Казаки, давайте к нам!

— Ну, нахалки, — удивляется Кочубей. — Оторви да брось!

А мне они, честно сказать, нравятся. Веселые, озорные и безбоязненные, хотя бы и нашим солдатам в пример. Что греха таить, когда снаряды начинают ложиться близко, у многих нервы «дребезжат». А тут — на тебе, развлечение...

* * *

В дневник не записывал — никак нельзя. По многим причинам.

Вызвал командир дивизии, сказал: надо взять «языка». Я, наверное, смотрел слишком удивленно — он пояснил:

— Знаю, думаешь — в дивизии разведроты, у полков свои разведчики... Правильно. Но вот — не справились. Убитые есть, раненые, а «языка» — нет. У тебя народ дошлый, увертливый — надо попробовать... Очень надо! На подготовку — два дня...

Подготовку начал с «интервью» в разведроты: как переправлялись через Дон, где пытались брать... Переправлялись чуть ниже Еринского на рыбацкой лодке. Нормально. Взять пытались из крайней траншеи у Нижнекалининского — не получилось, сторожки там,

как суслики, заметили, подсветили ракетой: отходили с боем в лес, один убит, двое ранены...

Ничего себе головоломка! Вернувшись в батальон, стали с комиссаром искать добровольцев. Наметили примерно подходящих, вызывали по одному. Согласился политрук Лапинис, солдат Мокринский, ухватистый, мастер на все руки, из колхозников, еще рядовой Губарев, флегматичный здоровяк Лапченко (или Лапин? — фамилии не записал). Затем собрал вместе, спросил, как действовать? Инициативу взял на себя латыш Лапинис:

— На денек у берега надо пристроиться, понаблюдать...

Устроились тоже ниже Еринского, вырыв ночью окопчик позади густого куста у воды. Поехал и я туда во второй половине дня, думал, доберусь как-нибудь незамеченным, сам посмотрю. Не вышло — только въехал в лесок по травянистой дорожке, позади разорвался снаряд, молодая донская кобылка, рыжая, в «чулках» и со звездой во лбу, испугалась, понеслась — чуть голову сучьями не снесло, из седла вылетел. Пока канителился, обстрел усилился, затею пришлось оставить. Не понял, что били по этому леску? Молотьба серьезная, а наших тут никого, оборона гнездами левее яра, по которому я пробирался, и правее, в направлении Вешенской. Но у противника, видать, свои расчеты, полагают, видимо, что где лес гуще, там и мы прячемся...

Группа сидела на берегу и вечером, и в ночь. Утром Лапинис докладывал свои соображения:

— В леске напротив у них обороны нет, патрули проходят в сумерках и на рассвете. Значит, переправа пройдет. Но лезть к их окопам у Нижнекалининского не стоит, там их густо, ночью ракеты жгут... Думаю, нам после переправы надо лесом в тыл, за передовую проужачить, а там уже брать и лесом же тащить...

На том столковались. В следующую ночь ушли. Губарев, наверное, колебался, серые глаза были беспокойны, просил автомат. Их у нас кот наплакал, но дали. Ушли.

Почти ночь и сам не спал, сидел у Дона, слушал. Сом плеснет, сазан взиграет — настораживаешься до дрожи... Перед утром, еще в потемках, вернулись, на лодке пришлось сделать два рейса — приволокли немецкого ефрейтора и раненого итальянца. У Мо-

кринского забинтовано горло, говорит, что ничего, пустяк, но отправили в медсанбат. Лапинис рассказал:

— Выполняли план, леском прошмыгнули за передовую, вышли в степь. Чуть не напоролись на артиллерийскую батарею. Потом набрели на сарайчик, рядом повозки под брезентом, лошади сенцо жуют... В сарае была потасовка, пришлось швырнуть гранату... В общем, отдыхала там группа минирования, большую часть побил противотанковой гранатой, двух вот вытащили...

Комдив поблагодарил, предложил отличившихся представить к награде. У Лапиниса после расспросил подробности, а уже после войны он, инженер в Днепропетровске, прислал мне подробную запись этого похода за «языком» — шаг за шагом, минута за минутой. Что думалось, кто как себя вел.

Но это потом. А тогда Мокринский дня через четыре появился в батальоне — сбежал из медсанбата. Объяснял:

— Скука там, среди своих лучше... Да она и рана-то пустяковая, пружинка от итальянской гранаты в горло впилась... Так эти итальянские гранаты — они так себе, маленькие алюминиевые, если «рубашку» примять, табак носить хорошо... А мне за то, что сбежал, ничего не будет? Ну, смехота это: от пружинки в медсанбате околачиваться...

Тем и кончилось, но уважение к «чижикам» в дивизии явно повысилось.

4. 8. 42

Восемь залпов дала тяжелая немецкая батарея, и восемь разрывов потрясли землю правее и впереди. Восемь раз качнуло леса грохотом, ветром и огнем, с августовских деревьев, словно по осени, закружились листья. Еще темно-зеленые...

Ночь — как бред: она уже позади, а в голове — туман.

Были на старой квартире — блиндаж сырой, скука.

Пошли выпить чаю с душицей, но еще не кончили — пришел сержант. Злой, рыжий и рябой, перетянутый немецким поясом-патронташем с золотыми строчками пуль:

— Прибыл из штадива старший лейтенант, вызывают вас — срочные дела...

Пришел. Приказ: Кондратюка, Забулонова и Казакова на проверку минных полей.

Уладил.

Приехал Дубровский:

— Переправу на Хопре строить нельзя: у берегов — отмели, на той стороне — восемь километров песка...

— Езжайте на КП, доложите дивинженеру...

Снова, около 24.00, вызвали.

Вернулся.

— Читай, — ворчит военком, — совсем раскассировали.

Читаю. Приказ — отправить, сняв с КП, один взвод на организацию переправы в Елань на Дону.

И пошло.

Написал приказание, аттестат, послал связных.

Лег — будят минеры. В смысле напутствия...

Опять лег. Будят — уходит Дубровский, надо договориться о связи.

Лег — Коваленков тянет бумаги на подпись — сведения в штадив.

Лег — приходит Шумский с патронными делами...

Наконец плюнул, встал и пошел на речку. Вода — холодная, синяя, жжет (родники и холодная ночь). Не взирая, выкупался, стало легче...

13. 8. 42

Бедные немцы заблудились в географии! Сегодня ночью в расположении наших частей разбросали листовку:

«Трудящимся нефтяной промышленности!

Красная Армия терпит поражение за поражением и покинет скоро ваш край. Она будет при этом пытаться увлечь вас за собой и попытается разрушить место вашей работы, как нефтяные промыслы, перегонные заводы, склады и средства передвижения.

Не принимайте участия в этих разрушениях, а заботьтесь о безопасности вас и вашей семьи, скрывайтесь в надежном месте и ждите там прибытия Германских войск.

Только тогда возвращайтесь на место вашей работы, чтобы мы смогли вам дать РАБОТУ И ХЛЕБ!»

Бедный Гитлер! Ему так приспичило с нефтью, что он разбрасывает листовки даже на Дону, где нефти отродясь не водилось! Он даже готов дать нам... наш

хлеб — вот до чего расщедрился! Однако же прежде его надо взять. А немцам, судя по всему, скоро будет не до нефти...

16. 8. 42

В 15.00 вызвали на КП вместе с дивинженером, поставили задачу — к ночи роты перебросить в Еланскую и Красноярский, готовить переправочные средства... Значит — вперед?

17. 8. 42

В два часа ночи выехал. Перед КП застал дождь. В мокром, еще темном, шумном лесу никто не спал — все готовились к выступлению, отдавались приказанию.

Дождь перестал, когда мы были на пути к Лебяжинскому, многослойные и многоцветные, от голубых до розовых, облака образовали гигантский купол над степью. Пыль улеглась, пахло свежо и остро подсолнухом и сеном. В том же направлении, что и мы, двигались, ныряя по балкам, батареи на мехтяге.

Наша задача — очень быстро построить более двадцати плотов. Материалов — никаких: что найдешь на месте, то и твое, разрешено, в случае крайней необходимости, ломать пустые дома, сараи и прочее. Роты собрались в четвертом часу, все время были в ходу, сутки не спали, ни разу как следует не ели и сразу — к делу.

Тракторов нет. Где, к черту, натаскаешь бревен? Решили плоты для пехоты делать из плетней, рамы из бревен, настил — из досок. В кузне походной делали скобы, — стучит, дьявол, тревожит немца, а еще и дымком ко дню дразнит, — ломали полы в аптеке и магазине, снесли сарай. И немцы с самого утра запсиховали, молотят всем, чем могут. С командиром четвертой роты и военкомом мы обследовали ерик, заросший по берегам раkitником, — для вывода плотов прямо к Дону. И тоже угодили под жестокий минометный огонь — осколки шурхают вокруг и над головой, их не видно, а видно летящую щепу, которая выдирается из живого дерева. Главное — сидят немцы на кручах правобережья, им все видно.

Когда из Еланской, пройдя за постройками, стала выдвигаться наша первая рота, вылезла на бугор, черт знает какой поднялся тарарам. По лесу — тоже

сплошной треск, будто пригоршнями сыпят горох. Все же первая полезла ломать дома, тарарам при этом усилился, а командир четвертой стрелковой роты, на участке которого это происходит, ругается на чем свет стоит — ему вроде в чужом пиру похмелье:

— Что делаете? С ума посходили?

— Не мешай, некогда.

— Так вы хоть маскируйтесь, а того лучше — берите материал в другом месте.

— Негде...

В самом деле, время, отведенное для выполнения приказа, истекает — черта ли тут деликатничать? Трещало до вечера, но работали, как ни в чем не бывало. Вечер. Немцы шарят по лесу прожектором — специально, что ли, притащили? Их, видать, нервирует стук-грюк... И все время кроваво вспыхивают разрывы, а над Доном, за Еланской, лезет в небо молодой месяц...

Пишу все это при сигнальном фонаре на командном пункте четвертой стрелковой роты. С командиром помирились — даже ужинали вместе.

Денечек!

А он еще и не кончен...

19. 8. 42

...Узкая, песчаная тропинка, залитая ярким августовским солнцем, вьется по берегу ерика к Дону. В высоком разнотравье гудят пчелы. По бокам — топольник, вяз, местами орешник. На тропинке — редкие следы: обычно здесь не ходят, опасно. В ерике плещутся утки. Мир. Тишина. Полдень.

Выхожу на самый берег Дона. Песчаный, ослепительно белый плес за темно-синей, в ряби, поверхностью Дона. Дальше — кусты, видно, как два немца работают, укрепляя окоп.

Закутив, сию на берегу за кустом. Редко постреливают через Дон снайперы, иногда слышна пулеметная очередь. Но в общем для переднего края слишком тихо. У воды табунок немецких лошадей — на противоположном берегу, видно, ездовые упустили, а теперь боятся взять. Пристрелить бы: все же тягловая сила, работающая на гитлеризм, но противно, да и автомат оставил у ординарца, вышел прогуляться один.

Черт ее знает, вот чуть поддайся мыслям, залюбуюсь природой, и война кажется жуткой и слишком оче-

видной глупостью, чтобы ее продолжать. А разве в самом деле — не глупость?

И все же для меня сейчас это единственно целесообразное дело...

Вспоминаю.

Как-то в станице Еланской, когда мы только перебазировались, комдив, оставив за церковью машину, принимал в казацкой хате командиров полков и подразделений — по одному. Моя очередь была последней.

— У тебя тут ерик, скрытый лесом, — сказал комдив. — Поучитесь-ка делать плоты из подручных средств... Грузоподъемностью на взвод с пулеметом. Ну а потом — на пушку.

— Неужели Дон форсировать будем? — спросил я.

Он засмеялся, обратился к комиссару Сухенко:

— Вот скажи, комиссар, говорил я о форсировании Дона? Ни сном ни духом. А он из комбатов — в Наполеоны! Я об учебе говорю. И жара стоит, а ерик глупокий, чистый — одно удовольствие!

Когда дела были закончены, предложил сыграть в шахматы — ехать все равно было нельзя, Еланская лежала у противника как на ладони. И пока играли, ее обстреливали тяжелой артиллерией — взрыв, тучи песка, покачивание хаты. Но комдив делал вид, что ничего не происходит, и мне приходилось поступать так же. Две партии он проиграл, предложил попить чаю, а потом две партии подряд быстро выиграл. Сказал с усмешкой:

— Понял твою тактику. Авантюристическая, как у гитлеровцев — прорыв в тыл, пальба из автоматов с живота, паника. Многие попадают, я вот сначала тоже. Но в итоге таких бьют, что и доказано...

О чем говорил он с командирами полков, я не узнал, хотя спрашивал их, — экают, мекают, «текущими делами» загораживаются... Впрочем, по правде говоря, я им тоже содержание разговора с комдивом не раскрываю. Таков уж порядок — каждый свое знает, каждый свое делает...

20. 8. 42

На рассвете форсировали Дон...

Вчера вечером, только лег спать, — почти двое суток без сна! — приехали «гости»: дивинженер и командир армейских саперов. Интересует их одно — как с пе-

реправочными средствами? Только уехали, только сунул под голову шинель — связной с приказом о наступлении. Господи, боже мой, что тут началось!

Во-первых, несмотря на трехдневные мои просьбы, так и не разминировали полковые саперы подходов к реке. Теперь командир полка христом-богом заклинает помочь. Но как помочь, если карточек минирования нет — запропалились в штабе полка, поля известны «примерно», а мины — смесь, противотанковые и противопехотные? Тыкали их в землю, словно тут век сидеть, а теперь, еще на свеженьких, так сказать, придется подрываться самим... Подождал, пока прислали представителя полковых саперов, — может, что помнит, — послал шесть человек своих с миноискателями...

Во-вторых, стрелки не ожидали так быстро приказа на форсирование Дона, лодки и плоты не подвинули и не вынесли к реке. Теперь комбат-2 умоляет:

— Помогите!

Пятую роту стрелков послали на брод — мы его три ночи искали под Еланской. Брод есть, но по фарватеру его в недавнем прошлом прочистили землечерпалками и там только и остается, что пускать пузыри. Выход нашли в том, что затащили два каната на немецкий берег. Однако вскоре пятая рота топает назад. Перехватываю по дороге:

— В чем дело?

— Саперы подвели, ничего не сделали...

Хнычет, как и на КП за сорок минут до этого. Станный он, этот командир пятой, неуверенный в себе. Раздумывать некогда, предлагаю:

— Пошли назад!

— А я вам не подчиняюсь.

Нечего сказать, самое время для дискуссии!

Подошел мой заместитель Юрий Кондратюк.

— Ну, как там у вас?

— Прекрасный брод, канаты перетянуты, а никого нет.

— А вот командир пятой говорит, что нет брода.

— Да мы его и не видели!

И тут прямо бог послал начальника штаба стрелкового батальона. Еще стоит предрассветная мгла, но мы, как совы, за время обороны научились видеть в темноте, узнаем друг друга даже по расплывчатому контуру.

— Слушайте! — кричу я, и дальше идет сплошное поношение пехоты...

— Да ведь нет брода! — повторяет он чью-то версию, скорее всего командира пятой роты. Сообщил уже, на это — быстр.

— Да что вы чушь несете всем батальоном. Есть брод!

— Правда?

— Правда.

— Тогда — бегом, аллюр три креста... Пятая, шагом марш!

А в это время с низовьев Дона уже медленно, как предвечерний гром, поднимается канонада — это, по всей видимости, начали форсирование соседи. Отдельных выстрелов не разобрать, только сплошной гул, да вибрирование почвы, как при землетрясении, да преждевременное посветление неба...

Пятая рота с ходу форсирует Дон по канатам — только двое раненых, и то не очень! Немцы никак не ожидали, что может начаться отсюда, — берег в сыпучих песках, открытый. На противоположном берегу рота ныряет в кусты и через лесок рвется к первой высоте, притом получается так, что она заходит во фланг, — такого развития событий не предусматривал никто, в том числе и штабы. За первой сразу же следуют четвертая и шестая роты, но противник уже спохватился и поливает их пулеметами. Я делаю несколько снимков ФЭДом — на память.

Еще через несколько минут начинается артподготовка у нас, воздух звенит, воем, гудит и плачет от мин, снарядов, пуль. Земля содрогается и словно бы плавает под ногами. Уже не различить выстрела орудия от разрыва снаряда, все сбилось в ком. А мне, как назло, смертельно хочется спать. Еле волоча ноги, иду на покинутый КП пятой роты и застаю у телефона начальника штаба полка.

— Как дела? — спрашиваю.

— Идут!

— Что с пятой? Сведения есть?

— Прекрасно! Расцеловать вас надо за это.

И я распускаю павлиньи перья:

— На то — саперы!

Пехота не любит таких намеков, и наш разговор на том кончается. Спустя час узнаю — сон так и остался неосуществленной мечтой, — что ниже по реке пере-

права на плотях не удалась, что захлебнулись и действия у соседней дивизии — небольшие группы перебрались через Дон, а на высоты не вышли, сидят, прижатые к подошвам круч, и не знают, что делать.

В ад подбрасывают дров: и на правом, и на левом берегу Дона стреляет все, что может стрелять. Но переправа работает... А можно ли бриться в аду? Можно. Брился сам, ничего. И сидел босой, охлаждая натруженные ноги в свежей водичке. Блаженство!

21. 8. 42

Два полка нашей дивизии с легким вооружением переправлены, и все — по нашим канатам. Плацдарм занят. Внезапно смолк пулеметный и пушечный огонь итальянцев — выяснилось, что, не считая небольших немецких подразделений, основную оборону против нас держала итальянская дивизия «Челере», скомплектованная в Ферране и проходившая обучение в Милане. В ушах звенит от непривычной тишины. Тучный и энергичный начштаба двести третьей дивизии, наш сосед слева, спрашивает меня «перекинуть через Дон» по нашей переправе некоторые его части, в том числе артиллерию.

— Отдаю заранее любые трофеи!

— Давайте лошадей.

— Хоть всех, которых захватим! — щедро обещает он.

— Нет, не тех, которых захватите, а своих.

— Своих?.. Гм... Ладно.

— Сколько?

— Сколько надо.

— Двадцать...

— Многовато, капитан... Побойся бога — видишь, время горячее...

— Именно.

— Ладно, постараемся...

И, конечно, чепуха все это — не дал. А у переправы — светопредставление: идет — все еще идет — по двум тросам вполуплавь пехота, плывут лошади и повозки, попеременно с пехотой по нижнему канату перетягиваются плоты из бочек — с легкими пушками и минометами. У воды — ящики снарядов, мин, патронов, гранат, ступить некуда. Берег — изрыт воронками от снарядов, стоит шум и гам, скрип колес, гул машин,

песчаная пыль проникает в рот и скрипит на зубах, В кустах — тоже бесконечное кочевье...

* * *

О форсировании Дона следует сказать подробнее. Краткая, будничная запись из блокнота передает лишь то, что мы тогда ощущали, находясь, что называется, «внутри события». Это напряжение, спешка, конкретное «дело» в грохоте, вое, свисте, в чаду. Где там заниматься подробностями? Значение события на уровне командира части до конца непонятно, развитие его в будущем тем более. Важен итог — сделано. Позже я подробнее рассказал об этом в книге «Белый ангел в поле», в главе «Солнце всходит за Доном». Заменял я там по этике повести некоторые фамилии — люди и обидеться могут, но все остальные подробности реальные. Как было.

Много-много лет спустя, в конце семидесятых годов, довелось мне накоротке беседовать с начальником инжслужбы **НЫНЕШНЕЙ АРМИИ**. Когда я рассказал ему о нашем форсировании Дона по канатам, при неправдоподобно малых потерях, он сказал: «Это единственный случай в истории войн — форсирование большой реки таким способом». Замечу от себя — да, единственный, нигде в исторической литературе не отмеченный. Кстати, начальник инжслужбы также был несколько удивлен, что **КООРДИНАТНОЕ МИНИРОВАНИЕ** было впервые введено и опробовано в нашем 66-м отдельном гвардейском саперном батальоне (это наименование он носил с начала 1943 года).

С чем же связано было это форсирование Дона? И каким результатом обернулось после?

Первое — связывалось оно с помощью Сталинграду, в котором сложилась тяжелая обстановка. Отвлечь хотя бы часть сил! Вот что писал об этом маршал А. М. Василевский:

«Несмотря на все мероприятия, проведенные нами 23 и 24 августа, ликвидировать подошедшего непосредственно к окраинам города врага, закрыть коридор и восстановить положение в те дни не удалось. Лишь усилиями войск 63-й и 21-й армий, осуществлявших вспомогательный удар на правом крыле Сталинградского фронта, в результате упорных боев удалось за-

хватить у противника юго-западнее Серафимовича плацдарм в 50 км по фронту и до 25 км в глубину, весьма пригодившийся нам впоследствии».

Второе расшифровывается термином «ВПОСЛЕДСТВИИ» — с этого плацдарма был нанесен удар на Калач, что означало ОКРУЖЕНИЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ ГРУППИРОВКИ НЕМЦЕВ.

Как же складывалась эта необычная переправа по канатам, не имевшая прецедентов ни в одной из войн?

В середине августа меня вызвал командир дивизии М. И. Запорожченко; задача — всем батальоном перебазироваться в лес под Еланской; позже приказал в ерике, с расчетом вывода в Дон, сооружать плоты.

Прибыли. Основной штаб оставили в Солонцовском, меня «на постой» принял в свой блиндаж командир стрелкового батальона А. Попов, который посмеивался, что адъютант постарался, отгрохал ему «новую канцелярию» — блиндаж от бомбы и тяжелого снаряда не спасет, но просторен, рядом щели. Батальон разместился тут же по краю леса, в низине, ерики почти рядом, от наблюдения со стороны противника укрыты — вполне удобно.

Но из чего строить плоты? В лесу — огромные осокори и дубы, для плотов не годятся — толстые, сырые, грузоподъемность мала, таскать — черт их дотащит. Первое решение — ломать постройки, если надо, брошенные дома. Вроде и выход. Но в казацких постройках «на базах» и в самих домах толкового леса кот наплакал, больше саман. Решили — подойдут плетни, их много. Сухие, плавучесть хорошая, только нужны бревна для скрепления и доски для настила. Стали ломать и стаскивать к ерикам. Но стоит Еланская на песчаном взгорке, напротив за Доном чуть левее высота с меловой кручей — шапка ломится! Оттуда мы видны противнику. Пулеметы и автоматы не достают, а минами и снарядами — сколько угодно. И едва мы высывались из леса в Еланскую, начинался такой тарарам, что и небу жарко!

А. Попов зондировал — чего это мы в ериках бултыхаемся? Я помнил «разъяснение» командира дивизии: мол, доучиваться надо, и погода хорошая, купаться можно. А. Попов в эти «учебно-курортные» мотивы не верил, наедине высказал предположение, что готовится, очевидно, форсирование. Я-то сам был того

же мнения, но оставил его при себе. А он вздыхал — тяжелы плоты, пока вытаскиваем из ериков да пока плыть будем, перебыют с высот, некому будет в атаку идти. Я тоже понимал это, и душа моя «скулила», а что делать? И не помню уж, кто сказал тогда первым: «Эх, брод бы!..»

Но какой тут брод? Я вырос на реке Десне, она во много раз меньше, а и то брод в кои веки найдешь. Взрослому по шею. В одежде да еще с оружием не пройдешь, течением повалит! Тут и говорить нечего... А все же, единожды рожденная, мечта о броде не угасала. Разведать надо. Командир взвода Казаков по моему поручению отыскал в Еланской деда, который жил в погребе и по малости торговал самогонкой. Расспросил. Выяснилось, что прежде ловил он на лодчонке рыбу, для чего перетягивал канатик, по которому и «смыгал», — при быстрине на веслах не удержишься, да и сил мало. С этого берега, от Еланской, большая отмель, а у противоположного берега бешеное течение и глубина. Да еще перед войной земснаряд поработал, так что теперь и вовсе прорва...

Вернулся Казаков перед рассветом, разбудил меня, рассказал. Сознание как-то само собой зацепилось за слово «КАНАТ». А что, если затянуть один или два каната? И пустить по ним солдат — пока мелко, иди, дальше висни на канате, перебирай руками...

Просто? Ага. Но противоположный-то берег у противника! Как затянуть канат?

Наш берег пологий, песчаный, с невысоким дурно-травьем и небольшими кустиками у воды. На другом — напротив — густой лес, чащоба кустарников. Установили наблюдение, оказалось — окопов у противника тут нет, постоянной обороны тоже. Проходят только патрули с наступлением ночи и перед восходом солнца. Тут нам попутный ветер! С меловой кручи слева участок просматривать невозможно, а лес клином тянется чуть не до Плешаковского, для флангового удара в обход высоты место — лучше не придумать!

Разведали наблюдением. Сплавали ночью на тот берег. Промерили глубины. Все в порядке, можно заводить канаты...

Какие канаты? На две «нитки» нужно их около километра, а в батальоне ничего не было и нет. Стали «зондировать» тыловые службы, одно удивление — с ума

посходили, что ли, у них тросов нет машины из грязи вытаскивать... Подсказал солдат Афанасенко, объяснявшийся на диковинной, хотя очень выразительной смеси украинского языка с русским: мол, канаты на столбах висят, электрические и телефонные провода, снять да скрутить... Снимали по разным местам, скручивали...

Об этом варианте переправы — по канатам — не докладывали и не сообщали никому, даже дивинженеру. По простой причине — поставят в план, назначат «час X», а вдруг не выйдет? Скандал! Но, получив где-то близко к полуночи приказ на форсирование, канаты завели, все было готово. Начались другие недоразумения. Пятая рота батальона А. Попова, посланная на переправу по канатам, переправы не обнаружила, перехватил ее на полпути, когда возвращалась...

Вышли на берег, рассветает, артподготовка не начиналась. Обнаружат — перебьют. Что делать? Приказываю — начинать...

Это была удивительная переправа! Первая рота прошла по канатам, можно сказать, беззвучно; А. Попов бросил возню с плотами, — они так и остались в ерике, — махнул к нам.

Левее нас переправлялись на плотам подразделения 203-й дивизии, которой командовал Г. С. Зданович, Герой Советского Союза. Тяжелая получилась у них переправа — плоты медленны, их заметили, открыли убийственный огонь, потери достигали пятидесяти процентов. Переправились — и попали под обрыв, из-под которого не вылезти, по гребню метут пулеметные очереди. Со вторым эшелоном заминка — тяжелые плоты для повторного использования не вернуть, их и так снесло далеко по течению. Лучше, как выяснилось потом, шли дела ниже, за флангом 203-й — там на противоположном берегу были низинки, лески, кустарники. Легче зацепиться и прикрыться. Впрочем, всех подробностей мы не знали.

У нас все шло хорошо. Батальон А. Попова ударом с фланга — лесом прошел почти незамеченным, атака для итальянцев оказалась неожиданной — очистил главенствующую высоту. Слева на нее взошли и подразделения 203-й дивизии. Мы переправили по нашим двум канатам два полка нашей дивизии, ко второй половине дня — почти два полка соседей — у них не осталось переправочных средств, плоты ведь на той сто-

роне! — и к вечеру, сколотив подобие паромов на пустых бензобочках, начали переправлять минометы и легкие пушки...

Между прочим, по тем же канатам, но на нашу сторону, переправляли мы и пленных итальянцев. Сотни солдат и офицеров. Они дивились необычности переправы.

Откровенно говоря, я и сам дивлюсь. С тех дней до нынешних. Не только необычности форсирования Дона, реки широкой, быстрой, коварной, но и вообще инициативе, выдумке, изобретательности наших солдат и офицеров, умению приспособиться к любым осложнениям, неунывающей стойкости духа. И когда перечитываю или смотрю по телевидению сказку о том, как солдат из топора щи варил, все вспоминаю наш батальон...

Но вернусь к записям в блокноте. Их краткость, понятно, не дает полной картины, но представляет свой интерес — непосредственность ощущений того времени...

22. 8. 42

Над головой висят «хейнкели» и прочие. Не в переносном смысле — в прямом: сначала девятками, потом тройками, потом по одному они охватывают весь наш район и, сменяясь, челночно снуют по три и четыре часа, бомбят, обстреливают из пушек и пулеметов. Словно идет молотьба на гигантском току. Никакой передышки, затихает только на час в середине дня — летчики обедают. И мы тоже. Потом — все сначала. Вдобавок ко всему нас обрабатывают снаряды дальнобойной артиллерии из-под Ягодного. Дым затуманивает лес под Еланской, дождем сыплются срезанные осколками листья и ветки — зеленый листопад.

Немцы спохватились, подтянулись. Начинается настоящая битва за плацдарм... Подошла новая итальянская дивизия «Сфорцеско». Нас пытаются сбить с высот, выкупать в Дону. Мы отбиваемся и пока все глубже лезем в землю.

Держись, ребята!

* * *

Инжполк левее нашей канатной переправы, у хутора Матвеевского, построил мост — солидный, крепкий, под

танки. Построил и ушел, а мне приказ — взять мост под охрану и вообще «во владение». Что это значит? В штабе разъяснили:

Первое: мост заминировать. Чтобы, если наши части будут сбиты с плацдарма, дать отойти своим до последнего человека, но ни одного солдата противника и танка не пропустить. В последний момент взорвать...

Второе: организовать постоянное дежурство минимум одного взвода. Для чего? Если мост поповеркают при бомбежке, немедленно починить. Он должен работать как часы.

Заминировали — первую треть от нашего берега на электрозапалах, остальное на детонирующем шнуре. Мой заместитель Кондратюк, которого я временно оставляю начальником моста, пожимает плечами:

— Значит, подручным к сатане.

— Как это — сатана?

— Детонирующий шнур... Шарахнут бомбой, один детонатор откликнется — две трети на воздух... Сами понимаете.

— Понимаю. А варианты?

— Нет вариантов. Надежнее бы, конечно, на электрозапалах, но мощности подрывной машинки не хватает, даже эту продублировать нечем...

— Ладно, может, зенитки подбросят? Должны бы...

— Если есть...

В тот же день, во второй половине, — налет и бомбежка. С высоты били по самолетам из винтовок и пулеметов — шли низко. Не сбили ничего, но, наверное, на летчиков действовало. В мост бомбы не попали, вздыбили гейзеры воды. Когда самолеты ушли, саперы у берега стали собирать оглушенную рыбу — судаки, сазаны, лещи, два сома. Уложили в пустые снарядные ящики, отправили батальонной кухне. Там веселое настроение: «Эх, к ухе бы то самое!..»

— Могу ключевой доставить, — посмеивался помпomat Запорожец. — Без нормы, сколько влезет...

— Сами пейте...

— Я полнею, мне вредно...

Бомбили мост и назавтра, тоже не попали. Всплыли всего несколько рыбин — мало, то ли в первый раз погибла, то ли ушла от греха подальше. Чуть пониже моста копошилось трое пехотинцев, задержали — чего

топчетесь? Выяснилось — хотели противотанковой гранатой приглушить рыбки.

— Вы что, японские самураи? Пришли харакири делать? — отчитывал их Кондратюк.

— При чем харакири?

— А знаете, как противотанковая граната рвется? Если чека вынута, даже при столкновении... ну, хоть с лозовой веткой. А тут кругом лоза. Да если и на воду упадет — взорвется сверху...

Гранату отобрал, пригрозил, что если кто еще с такими цацками сунется в район моста, прикажет стрелять...

Через три дня мост сдали специально присланному инжбату — гора с плеч!

* * *

Жизнь после форсирования Дона стала для нас спокойнее — немцы резонно полагают, что через лесок нашего базирования проходит дорога от Волоховского и Солонцовского к переправе, а кроме того, тут могут укрываться и части. Поэтому, во-первых, молотят тяжелой артиллерией из-под Ягодного — не станицу Еланскую, которая пуста, а именно лес — а кроме того, без конца бомбят. С утра до вечера с перерывом на обед. Я взял себе за норму — каждый день бритье, смена подворотничка и полная «затяжка амуницией». Мне позарез надо? Может быть, и перетерпел бы. Но заметил — сам в ажуре, солдаты тоже подтягиваются и смотрят веселее: если комбат «наводит красоту», значит, дела идут нормально, верно?

Только бриться трудновато.

Почти обыкновенная сценка.

Утро. Выхожу к маленькому озерцу, присаживаюсь у корней векового дуба, намыливаю лицо, начинаю брить. Идут шесть немецких самолетов — низко, вроде вываливаются из-за Еланской. Быстренько отскакиваю за толстый ствол дуба. Рев такой, что на воде мелкая рябь. Бомбы сбрасывают где-то в глубине леса, метров за триста, — кстати, там никого нет, — разворачиваются и, возвращаясь тем же маршрутом, поливают лес из пулеметов. За это время успел побрить одну щеку, на всякий случай переместившись на другую сторону ствола. А на другой щеке мыльная пена засохла. Макаю ки-

сточку в озерцо, начинаю брить другую щеку — опять оттуда же, из-за станицы, идет тройка самолетов, на этот раз на бортах не свастика, а какие-то круги, наверное, итальянцы. Но маршрут тот же — бомбы в гущину леса, прочесывание пулеметами. Снова маневры вокруг дуба. Побрил другую щеку, остался с засохшим мылом подбородок. Пытаюсь закончить — опять бомбардировщики, на этот раз девятка со свастикой. И все повторяется.

Подворотничок пришиваю в щели возле блиндажа — в щели потому, что она безопаснее блиндажа, иногда и ночью там спим.

На бугре, у дороги, скатывающейся от Еланской, наша кузница. Когда готовились к переправе, там была спешка, делали скобы, сейчас работы мало. Поэтому кузнец с подручным решили организовать воздушное прикрытие: достали где-то противотанковое ружье, отрыли круговую щель, насадили на ось тележное колесо, на колесо прикрепили ружье — «зенитка с круговым боем». Мне надо к мосту, по пути захожу к «зенитчикам», спрашиваю:

— Что же вы стервятников не бьете? Житья нет, табунами по головам елозят...

— Сами не понимаем, — с недоумением говорит кузнец, высокий, костистый, чернявый, похожий на цыгана. — Может, они бронированные? Не знаете, товарищ капитан?

— Вот сбили бы — и разобрались бы...

— Не сбиваются... Ну, мы на своем настоим тоже...

— Ладно, подожду...

Меня устраивает то, что люди в этом тартараме не закисают, все чего-то ищут, все хлопочут. Особенно здорово, когда еще острят, когда кругом смех. До форсирования итальянцы доставали наш лесок минами. И вот происшествие на кухне — повар Побалка только что раздал кашу, уселись поесть, а тут минометный обстрел. Коротенький. Кухня и едоки накрыты густыми дубовыми кронами, мины рвутся на деревьях, в вершинах и ветках. К повару с пустым котелком устремляется рядовой Рыбалко.

— Ты чего? — спрашивает повар. — Я тебе уже отвалил.

— Так Муссолина мне кашу минными осколками по-

портил... Только брызгнуло... Поклады добавку чуть побольше, чем в первый раз...

Кругом, конечно, хохот. И через мгновение обстрел забывается, начинают сыпаться анекдоты.

Рота, когда в ней есть хоть один «заводи́ла», остряк, прибауточник, мастер сочинять и рассказывать анекдоты, всегда бодрее, энергичнее.

Кузнец, правда, не из разговорчивых, видом даже мрачноват, но зато всегда, что ни творись вокруг, невозмутим и что-либо делает или придумывает. Тоже завидное качество. Даже спасительное. Тут ведь, если не будет шутки и смеха или постоянных хлопот, если будешь излишне погружаться в «философствование», с ума сойти можно.

* * *

Недели три назад прислали нового адъютанта старшего — начальника штаба. Перед форсированием Дона отправили его с канцелярией в хутор Солонцовский, километров за девять от передовой, — и он жаловался, что негде и невозможно работать, и мы с комиссаром понимали. И вот — убит. Налетел днем одинокий самолет, сбросил бомбы, в дом не попал, но угодило в висок осколком через окно.

Хотел поехать на похороны — запретили, приказали заняться минированием на фланге от Нижнекалининского.

Вот и думай, где оно опаснее — на передовой или в дивизионном тылу? Так получается, что не угадать... Судьба, случай, везение, невезение — дьявол и разберет...

* * *

Половину времени провожу в лесу под Еланской, где остался штаб в блиндаже комбата А. Попова. Там лес дубасят тяжелыми снарядами артиллерии из-под Ягодного и с утра до вечера бомбежками. Нам попадает, но мало, видимо, расположение наше неизвестно, поэтому «раскорчевка» идет главным образом метрах в трехстах от нашего расположения, в самой гущине, куда мы забираться не думали.

Половина времени — на плацдарме, на высотах за Доном. Тут при ясной погоде носа из земли не высу-

нуть, итальянцы, не жалея затрат,— а боеприпасы-то возить далеко! — метут пулеметами по брустверам даже тогда, когда и движения у нас никакого. А еще щедро сыпят мины и снаряды, не считая налетов истребителей, которые поливают окопы из пулеметов. Небольшой филиал ада: жарища, жажда, пыль, грохот, треск. Моя задача — развитие обороны и минирование. Днем, особенно вне траншей, — а траншеи не все оборудованы и ходы сообщения не все выкопаны,— это передвижение даже не на четвереньках, а по-пластунски, когда все, от носа до щиколоток, безотрывно от земли. Приподнимешься — состригут! Солдаты, которые хорошо вкопались, поделали в стенках ниши для защиты от самолетов, лущат подсолнухи — тащат подсолнухи, тащат каким-то образом из-за Дона, где этих подсолнечных семечек целый брошенный склад. В нишах и тень, хотя это от жары не очень спасает — нет «продува» ветерком, оттого душно и томительно. Над нами, саперами, и посмеиваются: «Ползунки!», — и нас же ругают: «Носят тут черти, огонь накликаете!» Мы бы и рады не ползать и не накликать, но уж такое дело — прежде, чем ночью минировать, днем надо осмотреться...

А бывает и хуже.

Командир полка Мизиев иногда бывает вспыльчив, резко прямолинеен, но порой и хитер, как черт. Получил задание на разведку боем силами до двух рот, перед рассветом прибыл сам на командный пункт батальона — в тесный блиндаж, прикрытый слабеньким накатом. Из тех, что от солнца защита, а от мины уже нет,— с накатником тут очень туго. А я там же и ночевал с комбатом. Прибыл, спрашивает меня:

— Как там с минами, сапер?

— Мин нет, своих еще не ставили, итальянских не обнаружили.

— Смотри, чтоб чисто...

— Осмотрели — чисто.

Часов в восемь рота выскочила из траншеи в атаку. Поднялись хорошо, дружно, но вскоре залегли — такой пулеметно-автоматный и минометный тарарам, что, кажется, блохе не проскочить. Но, на мой взгляд, стрельба суматошная и малоприцельная, без большого ущерба. И вдруг в блиндаж врывается Мизиев — к началу

атаки он вышел в траншею, чтобы лучше видеть, и — на меня:

— Давай приказ — саперам вперед!

— С чего бы это?

— Пехота сигнализирует — мины.

— Никаких мин там нет.

— А я говорю — мины!

— А я утверждаю — нет мин!

— Давай саперов... вперед! Сорвется все — отвечать будешь.

Что ему скажешь? Мин там нет — это я знаю. Просто его пехота недоучена и малообстреляна в таких делах. Но ведь атака, едва начавшись, захлебывается, и выхода нет. Посылаю взвод саперов с младшим лейтенантом Бредихиным. Они с ночи тут же, в траншее слева. Недаром на берегу Дона учили мы их до седьмого пота ползать по-пластунски. Вьются ужами, вроде неспешно, но очень быстро прорезают строй пехоты и оказываются впереди. За ними группками переползает и пехота. Наконец, почти у самого переднего края итальянцев, бросают гранаты и с криком «Ура» бросаются вперед. Пошли первые — поднимаются и все последующие. В ста метрах за передним краем итальянцев все залегают: открыла мощный огонь артиллерия, к итальянцам слева подходит подкрепление. Отдается приказ отойти назад, задача выполнена. Отходят, выносятся убитых и раненых. Их, к счастью, немного у пехоты, а у саперов одному подрало пулей щеку, другому несильно «мягкое место», наверное, все же приподняло...

Когда все успокоилось, спрашиваю у Мизиева:

— Ну, где мины?

Делает удивленные глаза:

— Неужели не было?

— Ни одной.

— Вот охламоны, а мне доложили — есть... Тут ведь черт разберет, главное, пехота перепугана, не идет.

— Недоучена ваша пехота.

— Думаешь? Ну, это еще поглядим, задачу-то выполнили.

— Саперы и выполнили. Им спасибо надо сказать.

— Спасибо — это можно, а зазнаетесь чего? Царика полей все ж таки пехота, а не саперы, верно?..

Конечно, схитрил. Никаких мин не было, просто командиры рот и взводов не могли поднять солдат. Что

называется, «прижались» под огнем. Тут нужен почин, порыв хотя бы нескольких человек, но еще не набрались опыта, не усвоили «до нутра», что под огнем надо или быстро вперед, или назад, иначе и потери будут большие, и задачи не выполнить. У саперов выучка побольше, на животе ползать им приходится что ни день, с противником сближаться тоже, и хитрые стрелковые командиры не раз и не два использовали их «для заправки» под благовидным предлогом — «Минное поле, саперы, вперед!» Говорил об этом комдиву, тот пожал плечами:

— А я что могу поделать? Третьеиским судом на место для проверки бегать?

— Так у полка свой саперный взвод есть.

— Может, он на задании в другом месте? Разбирайтесь-ка вы в таких делах сами, лучше будет...

Ну, с такими хитрыми, как этот комполка, не очень-то разберешься, так или иначе выкрутится. Да, как подумать, что в таких обстоятельствах и делать? Недели через две в разговоре с глазу на глаз он и сам сознался, что выдумал эти мины — пехота залегла, командиры не могут поднять, люди гибнут, задача не выполнена. Спросил:

— А ты бы как действовал?

Я промолчал. Не знаю. Может быть, если бы додумался, так же.

* * *

При первых убитых было много разговоров о смерти, о ранах. Теперь замечаю — их все меньше и меньше. Убитых и раненых уже много — привыкли?

Нет, к смерти привыкнуть нельзя, но к мысли о ней, видимо, приходится притерпеться. После форсирования Дона в дивизии ощущалось несомненное вдохновение, прилив веры в свои силы, но бои на плацдарме стали яростными, все более тяжелыми. Собственно, куда бы и кто из нас ни шел, что бы ни делал — он всегда под смертью. С утра до вечера одно и то же — бьют артиллерия и минометы, налетают бомбардировщики, шныряют истребители. Зрение и слух обострены предельно — замечаешь любую точку в небе, не только слышишь подвывание снаряда и шорох мины, но без раздумий отмечаешь: откуда бьют, куда идет. Вырабатывается

какая-то инстинктивная расчетливость, почти звериного свойства быстрота реакции — видишь каждую защитную ямку, складку местности, ствол дерева; почти автоматически выбираешь действие: тут рывком перебежать, тут помедлить, тут немедленно лечь. Убить, что хорошо осознаешь, могут в любую секунду и минуту, днем и ночью, независимо от того, где находишься: на переднем крае или в штабе, в атаке или в пути к медсанбату.

Убитых хоронят, иногда с поминальным салютом из винтовок и пистолетов, когда позволяют обстоятельства, иногда, у переднего края, молча и наспех, раненых эвакуируют. Но много об этом не говорят:

— Не повезло.

— Пусть будет пухом земля...

— С одной рукой жить можно, была б голова...

Произошла какая-то глубокая психологическая перестройка — иначе думается, иначе чувствуется. Нет, жизнь есть жизнь, даже под тенью смерти бывают и вздорные ссоры, и на красивую медсестру заглядишься, и, если подвернется случай, выпить не прочь — словом, человеческое работает в человеке. Но есть и нечто особое — все внутри напряжено и устремлено к тому, чтобы сделать дело, выполнить приказ, — это главное, важнейшее, главенствующее. Все прочее, чем бы оно ни было, — второстепенное, соподчиненное, летучее.

Все реже вспоминается прошлое, порой начинает казаться, что оно сон или мираж...

* * *

У нас на руках карты-двухверстки, тут в географии и стратегии не разбежишься. Нашли школьную крупномасштабную, по газетным сводкам и более или менее достоверным слухам наносили обстановку на фронтах, в первую очередь по южной окраине. Картина невеселая, даже зловещая: фашисты на Кавказе, фашисты у Волги. Все больше становится ясным, что Сталинград, как говорят моряки, «глаз урагана», его центр. А мы на фланге Сталинградского фронта, связаны с ним на жизнь и смерть. Все, что происходит там, отзовется у нас, все, что происходит у нас, отзовется там...

Осознание этой общности — фактор мобилизующий и объединяющий, но, насколько это понятно нам — мне,

комиссару, дивинженеру, комбатам и командирам полков, с которыми общаюсь, — маловато у нас силенки для «нажима» и тем более наступления в помощь Сталину. Маловато, а надо. Надо, а маловато. Подбросят, не подбросят?

В боевых делах аритмия — то активизируемся мы, то немцы и итальянцы, но линия фронта, похоже, установилась. Они, по нашим суждениям, потеряли надежды выжать нас снова за Дон, мы плацдарм держим, но не можем продвинуться даже до Ягодного.

А при всем том бои, бои, бои...

* * *

Подал заявление с просьбой принять в партию. Писал коротко на бруствере окопа, подложив планшет.

Агитировали? Нет. Никто словом не намекнул. Почему на тридцать втором году жизни? Раньше считал, что не созрел — резок, вспыльчив, всякие «заносы» бывали. Правда, прям и резок был и мой комиссар Михаил Шульжик, но при том сколько и выдержки, умения в два счета находить общий язык с другими! Может, подавлял себя, подлаживался? Вот уж нет. Ясная, целеустремленная натура. Не на шелковой подкладке — на смешлив и даже язвителен. Из шахтеров и с шахтерскими повадками, какими они представлялись.

А мы, из бедных мужиков, лыком, что ли, шиты? И времена, по-моему ощущению, острейшие, даже под Москвой в сорок первом не ощущал я такого беспокойства, до холода под сердцем. Может быть, потому, что там не было на мне такой ответственности и не сталкивался я так близко с этой нечистой силой — фашистами. А к тому и остался я, похоже, один за всех из рода нашего. Братья на фронтах, живы ли, не знаю. Эвакуировались ли родители с оккупированной Брянщины? На свете ли еще или уже нет — неизвестно. Сын потерялся — уехал из Смоленска с тещей на товарняке, в чадую бомбежек, и — никаких вестей. И я ли один в таком положении? Кругом пожары, кровь, муки, а свастика вон уже и к Волге выползла. На кого надеялись в революции и гражданской войне, — в том числе и мужики в нашем селе, и мой отец, — в ком видели спасительность? В Ленине, в большевиках. На кого теперь? На партию, на Сталина...

Таковы, и не единожды, были мои размышления — накоротке перед сном, в окопах под бомбежками и артиллерийскими выстрелами. Разрозненные, а все в одном направлении. Да ведь и никакой другой веры, кроме как в Советскую власть и социализм, у меня не было — при них вырос, получил образование. А в церковь, заработав подзатыльник от матери, перестал ходить на десятом году... Все мое тут, на этой земле...

Рекомендации дали командир дивизии и комиссар. Этот шахтер, пожав плечами, даже укорил:

— Мог бы и раньше додуматься...

Приняли в кандидаты. Вопрос тоже был один — почему не раньше? Отвечал, если честно признаться, сбивчиво, пока секретарь не махнул рукой:

— Да все ясно... Проголосуем?..

* * *

На высотах правее хутора Матвеевского с господом богом за ручку здороваться можно — вознеслись в синеву. Та, левая сторона, с которой мы форсировали Дон, просматривается до пределов, где все размывается фиолетовой дымкой. Но и солнце здесь бьет, как термитный снаряд, — все вокруг голо, пусто, выжжено.

Пришел выбрать место для передового командного пункта и решить, как его строить. Что копать — понятно, что накатник и присыпка по верху — ясно, а надо ли забирать деревом стены? Грунт сухой, крепкий, а лес придется тащить с той стороны Дона. Что там? Ракитник, осокори, дубы — все тяжелое, скользкое, сырое... На чем возить, хоть и мост есть? На нескольких полузагнанных батальонных лошадях не вытянуть, с колесным батальонным трактором не сунуться — сметут напрямую первым же снарядом, стволов тут хватает.

Решил зайти к комбату Суетину — встречал я его мало и мимоходом, помнился он мне брюнетом чуть ниже среднего роста, подвижным, веселым. А о храбрости его шла добрая слава. Но в небольшом блиндажке — кстати, с земляными стенами — застал незнакомого старшего лейтенанта, представившегося заместителем комбата. Спросил его, как живется?

— Потише. Прежде все время кидались итальянцы, сбить за Дон хотели. Теперь они окопались, мы окопались, они постреливают, мы постреливаем... Насмеха-

ются, сволочи, когда их самолеты появляются, кричат: «Рус, воздух. Земля лезы!» Самолеты, конечно, не их, немецкие, но черт один, ходят вдоль наших окопов парами и тройками, поливают, как из брандспойта... А наших нет.

— Потери большие?

— С форсирования, считай, половину потеряли, больше ранеными. От самолетов почти нет... приспособились. Хотите поглядеть? Пошли, мне к тому же в роту надо...

Сперва ложбинкой, потом ходом сообщения вышли к передовой. Первое, на что я обратил внимание, — стенки ходов сообщений и окопов почти вертикальные.

— Не осыпаются?

— Нет. Даже от снарядов и при бомбежках. Бетон! А вот как от обстрелов с воздуха спасаемся...

В стенках хода сообщения, проложенного ломаной линией, вырыты ниши. В ближайшей усатый солдат лузгает подсолнухи. Пока наблюдаю эту идиллию, за изломом негромкие голоса:

— Говорят, на Сталинград он прет и прет.

— А ты чо, кукишем дорогу заткнешь?

— Не-е... Нам наступать надо. А то он там порешит, да по нам ка-ак двинет... Шмотьями в Дон полетим.

— Генералу подай совет.

— Ты не зубоскалься, а то Муссолина едалки по-выбьет. Тут сурьезно — вместе всем надо напирать. Понял?

— Это конечно... Тут чего скажешь? И опять же, какая у нас житуха? Печет вон, как на сковородке, воды дают — воробью раз прихлебнуть... Так что оно, опять же выходит, подвигаться совместно надо бы... Только наше дело какое? Как прикажут...

Эти «сталинградские мотивы» я уже не раз слушал в батальоне от солдат и командиров, но что проникло и сюда, в пекло передовой, не ожидал. Тут тяжело приходилось... Когда отошли, спросил старшего лейтенанта — а он что думает?

— То же самое... В одной связке.

— Чего ж сиднем сидите, если так? Нажимали бы.

— Приказа нет. И такое мнение, что ждать-пождать, силенок и на оборону едва-едва. Подкреплений не допросишься.

— Не спихнут?

— Нет. Сперва, старожилы говорят, муторно было, там большой водой отделялись, тут степи всего-то ничего, без малого гранатой докинуть... Привыкли.

— Итальянцы как?

— Они не задиристые... Одно время обеденное перемирие, что ли, устраивали... Наша кухня подъезжала — они не стреляли, их подъезжала — мы не стреляли. Без уговору, но честно. Потом не то командир полка, не то дивизии, меня не было, приказал минометами шугануть — мол, не курорт вам тут... Кухня их кувырком, лошади понесли... Ну, и они нас. Пришлось ходы сообщения во-он куда копать, в термосах горячее таскают. Они уж опять предлагали по-мирному обустроить, да, с одной стороны, приказ, а с другой — зря мы на копке мозоли набивали? Верно, что не курорт все же... А вот если двое-трое наших песню заводят, итальянцы не стреляют, слушают, а то и подпевать могут...

Возвращаясь, перекурил у моста с командиром инжбата в его землянке. У того был бодрый тонус:

— Батарейку зениток установили... малокалиберные, правда, а все же. И счетверенные пулеметы... Тут главное — с курса прицельного сбить этих стервятников, пусть в Дону рыбу глушат или по берегу ямки роют...

Вернулся я с приятным чувством — устояли, обжились. И с оружием дела все лучше — появились, хоть и в недостатке, у пехоты автоматы, несколько раз, после залпов сразу исчезая, «играли катюши». Меньше становилось вокруг озабоченных и угрюмых лиц, больше шуток и острот...

* * *

Уже писал об издевательских насмешках итальянцев при появлении самолетов. Между траншеями метров шестьдесят — семьдесят, если нет сильного ветра, все хорошо слышно. И вот во второй половине ясного дня вдоль высокого правого берега Дона, от Базков к Рыбному и Матвеевскому, идут три истребителя. Итальянцы радостно возбуждены, орут:

— Рус, воздух! Земля лезь!

Наши по привычке втискиваются в свои ниши — а что еще делать? Но происходит нечто неожиданное — истребители «причесывают» и «стригут» пулеметами итальянскую передовую. У наших сперва недоумение —

не ошибка ли? — а потом бурное ликование — встают в ходах сообщения в рост, бросают вверх пилотки. Позже стало известно, что за свои приняла истребители и итальянская рота, которая отдыхала в ложбинке на подходе к передовой, — не рассредоточились, считая себя в безопасности. Много покосили, остатки словно ветром по степи раздуло.

Так после долгого перерыва «объявила» о своем появлении наша авиация. Потом она начала действовать все чаще, не один раз на дню, и «погуще», группами побольше, но тот первый ее рейд стал праздником, особенно на передовой, — даже очевидцы рассказывали друг другу об этом по десятку раз, и не перебивали, слушали, радовались. И теперь уже наши на передовой, хотя издали не всегда разберешь, чьи истребители идут, веселились:

— Муссолина, воздух! Земля лезы!

Воистину — «мне отомщение, и аз воздам».

Появление наших истребителей на Дону с точки зрения соотношения сил и положения войск мало что меняло, а вот настроения наши здорово шли вверх, как ртуть в термометре при приливе тепла.

Опасливее, неувереннее действовали теперь шестерки и девятки бомбардировщиков, бомбившие нас в леске неподалеку от моста, — наверное, и крупнокалиберные пулеметы мешали, и истребителей побаивались. Впрочем, «на прицеле» они почему-то держали самую гущину дубняков, а там никого и не было. Единственным «важным объектом» в этом лесу был наш штаб и кухня, но мы в гущину не лезли, обосновались у ериков под самой Еланской.

Война стала буднями без серьезных событий, но наше самочувствие набирало высоту.

* * *

Погода посвежее, но хорошая. Ночи холодают. Кончился август, протекает сентябрь, а у нас, собственно, ничего особенного не происходит. Все больше разговоров о Сталинграде, он ведь недалеко. Говорят — там тяжело, как бы не взяли. Но это только говорят, достоверными могут считаться лишь сводки, а они скупы, как ни вчитывайся, полной картины нет.

Минируем, следим — где ставит минные поля про-

тивник. Разведки боем. «Языков» иногда притаскивают румын, но итальянцы тоже сидят, хотя, похоже, потеснились, уплотняются.

В октябре немножко поволновались — на закате под Еланскую пришла масса нашей конницы, то ли дивизия, то ли два полка. Переночевали в раkitнике у Дона и чуть свет ушли — осталась широченная, с разветвлениями у Дона, ископыт. Часов около одиннадцати на раkitник навалились шестерки и девятки несколькими эшелонами, немецкие бомбардировщики изрядно все перепахали и перековеркали, но впустую — никого уже там не было. Что за конница, для чего прибыла, почему ушла? Никто не мог сказать, а сами, хоть и были поблизости, в «контакты» не вступали. Это если бы подольше пососедствовали, само собой бы все вышло, а ходить спрашивать не принято. Да и не скажут, конечно.

В конце октября и начале ноября стали ходить слухи о передвижении танков у нас в тылу. Толковали об этом сбивчиво, главным образом местные жительницы, у которых были свои связи от Еланской и Вешенской до Шумилинской и Усть-Бузулукской. С началом боевых действий из района переднего края жителей выселяли, увозили на машинах в тыл, но по ночам многие возвращались. Сейчас оставались в малости, но оставались. Толки о танках, все более настойчивые, были нам весьма приятны, но кто же станет принимать их всерьез? Мы помнили навалы слухов в первые дни боев — каких там только выдумок и страхов не было. И что же? Отстоялось, отсеялось — реального осталось чуть, щепотью не захватить...

У нас, среди солдат и командиров, модными стали «философствования»:

— Вот зима скоро... Зимой двинем!

— Это под Москвой зима настоящая, а тут неизвестно и какая... Почти юг.

Расспрашивали жителей. Выходило смутно — морозы бывают, но какие? «Дак градусником не меряли, нам ни к чему...» Но и оттепели тоже сколько угодно, хлюпает и развозит. Вот вьюги — это да, как разбежится по степям ветер, как закрутит... При снегопадах в степи человека укатить может, а уж о дорогах и говорить нечего — «подчистую углаживает, что есть, что нету». Прикидывали, примеривали каждый на свой аршин — не

очень ясно выходило. Я пытался осторожно расспрашивать дивинженера Домикеева, тот пожал плечами:

— Поживем — увидим...

Думаю, ничего интересного не знает. Иначе хоть намекнул бы. Короткая встреча с начальником оперативного отдела дивизии майором Каменецким. Комнатушка маленькая, дым столбом от курева. Наменяю:

— Зима вот скоро... Чего делать-то будем?

Он человек веселый, остроумный. Щурится:

— Кстати о зиме заговорил... Есть сведения — скоро будем теплое обмундирование получать. Полушубок хочешь? Черный или белый? Учти, белый — маркий, а на черный маскхалат можно напяливать... А то мехжилет бери...

— Слух есть, в тылу танки группируются, что ли...

— Это ты кстати — про слух... Мне вот тоже рассказывали... В хуторе-то Терновском ночью к молодой казачке шасть сатана под одеяло. Она его, как положено, крестом осенила — не расточился, бродяга. Ну, что с таким поделаешь? Гитлер капут! А утром оказалось — лейтенант из снабженцев. Твои как, все на месте?..

Зубоскальством и кончилось. Пустое дело — вести «разведку» среди своих. А так хочется заглянуть хотя бы за край недели, месяца! Как сказал Омар Хайям, которого я в рукописных переводах Тхаржевского достал в Смоленске перед самой войной, «что там за ветхой занавеской тьмы?»...

* * *

Начинается зима, как-то одно за другим ускоряются события, растет напряжение. Вот запись из дневника — точное воспроизведение...

«Лежал с больной ногой и горлом. В 18.00 вызвали в штаб. Приехал генерал. Приказ перебазироваться в Рубежинский. Прощание. В 20.00 вышли. Я с Кочубеем на лошадях верхом. Холодно, ветер в лицо. За Солонцовским блуждали. Впереди ракеты, стрельба трассирующими. Слева бомбы. Красноярский. Переправа. Нужно к утру сделать паром, чтобы переправиться, а на Дону от берегов — лед метров на 60 с обеих сторон. Прорубают — замерзает. На открытом — шум: сплошное «сало». Бились до утра. В бледном рассвете в бинокль увидел: «сало» прекратило движение.

На участке переправы Дон стал.

Выше продолжается подвижка льда, ниже — чистая вода, у брода же, еще ниже, тоже лед. Сейчас приказал вынести лодки на разводья, натянуть трос — сначала десантную (сделать переправу), после — паром. Ночью — укрепление льда бревнами с песком. Приказано — Вербену...»

«...В Рубежинском. В комнате холодно — печь лопнула от близких разрывов, окна — тоже. Здесь будет временно штаб и жилье. Немцы рядом: мы — на этом, а они — на другом скате бугра. Грохот зверский, но различимы очереди автоматов...»

Чего-то, наверное, надо ожидать. Перебрасывают, передвигают нас днями и ночами — то к Дону, где правый берег занят противником, то левее — за Дон, на плацдарм. Одна рота мотается на разведках и минировании, вторая воюет с Доном, который сейчас ни то ни сё — у берегов лед, на быстринах «сало» и шуга, на плесах перехватами тонкий еще сплошняк. Старый мост может и вовсе размочалить при ледоставе, а комдив что-то очень озабочен переправами — для людей, для техники... Прямо свечки угодникам ставить готовы — стукнул бы крепкий мороз, дня в четыре все проблемы с плеч долой...

* * *

Свечек не ставили — в реальном смысле их попросту не было даже для освещения при нехватке керосина, а от условности, понятно, пользы как молока от быка. Но мороз поднажал и без того — хороший сапер из него получился!

Выезжал в Матвеевский по приказу — привести в полный порядок старый мост для пропуска танков. Танков я давно не видел, порадовался — вот и подходят... Лед тут уже хороший, конструктивно стал составной частью моста — настил без провисания лежит на льду, поскольку до этого прибывала вода, прогоны с верхушками свай вмерзли в толщу. А первый лед прочен, как сталь!

Сам промерз до костей — днем на резком ветру, ночью в таком же нетопленном домике, что и в Рубежинском. Побили снарядами и минами. Вернувшись в Рубежинский, хотел пойти на Дон для ледовой разведки — метрах в пятнадцати от домика попал под мино-

метный огонь. Сунулся назад — опоздал, получил осколки в бедра. Ничего особенного, брюки ватные, толстые, осколки мелкие, впились неглубоко — вытащить да выбросить. Но адъютант старший переполошился.

— Срочно в медсанбат!

Легко сказать — «срочно». Лошадь на другом берегу, медсанбат в хуторе Кулундаевском, ехать да ехать. Да еще пришел приказ — срочно проверить на танкопроходимость дорогу по берегу Дона под меловой кручей у Рыбинского. И донести. Истратили два индивидуальных пакета, рассечения зашить бы, так нечем, примотали тампонами. Ничего, порядок. Только пока с перевязкой возились, перемерз до стука зубовного. Хорошо, нашлось у кого-то сто граммов, отпустили на аварийность — оттаял.

Во второй половине дня, малость прихрамывая, проверил дорогу. Не пройдут танки. Телеги, видать, езжили когда-то, но в двух или трех местах выступы кручи прижимают дорогу к самой воде. Да еще и скользкая она, в меловой крошке, и с наклоном. Сползут танки. Расширить? Это можно, только с лопатами и ломами — а ломов еще и нет — копать до середины зимы придется. Взрывами надо. Но, во-первых, это может насторожить противника, который близко, во-вторых, постараются накрыть минами. А что если на время «работы» попросить «погреться» артиллерию и минометы, замаскировать своими выстрелами и взрывами наши?.. О чем и доложил.

Сумерки. Приказ на перебазировку в хутор Лебяжинский. Это близко, почти напротив через Дон. Близко, но как из чистилища в рай — тут просторные дома, всюду тепло, горячий ужин. Указание дивинженера — собрать сюда же целиком первую роту, сутки отдыха.

* * *

К утру лег снежок, синевой разлился морозец. Приехал начальник оперативного отдела, вызывает на КП артиллеристов. Идут. На выходе из хутора — и до леса то рукой подать! — застает артиллерийский и минометный обстрел. Суемся с ординарцем и адъютантом в снег. Треск, черно-белые вихри. Удар по ноге, но боли никакой. Когда кончилось, обнаружилось — у валенка осколком срезало пятку. Не везет — хорошие, недавно

полученные валенки, а придется менять. А пока, хотя и замотать нечем, идти надо — портянка мокнет, нога мерзнет. Адъютант утешает:

— Хорошая примета, два раза в одно место не попадает...

И то прибыток для души.

24. 11. 42

Перед рассветом переходим к излучине Дона. Тут быстрина, лед еще тонкий, играют полыньи. Правее и левее над Нижнекалининским, возле Рыбного, громоздятся обрывы, обледенелые скаты, разорванные глубокими и крутыми балками. На почти отвесных стенах — темные вихры кустарника, одинокие деревья, похожие на патрулей. Серые вершины круч сливаются с низкими мутными облаками. Там, за гребнем, — противник, и туда, очевидно, придется лезть...

В маленьком сарайчике у костра тесно, как в московском трамвае в семь часов утра. Кто сушит портянки, кто протирает автомат или пулемет. Вовсю идет маскировка: маскировочных халатов еще не получили, выворачивают белой подкладкой наружу ватники и брюки, а у кого подкладка темная — надевают поверх теплое белье. Зеленые каски трут о побеленные стены сарайчика. Каски белеют, стены лупятся и темнеют. Мои бойцы, закончив маскировку, кто как дремлют в снегу.

Ленивый поднимается рассвет над Доном. Редко бьют орудия, просвистит, как утка крыльями, мина и крякнет в осиннике. Только слева где-то слышен непрерывный гул.

Знакомлюсь с планом операции.

Нужно взять хутор Татарский — тот самый Татарский, в котором жил Григорий Мелехов из «Тихого Дона». (На карте, понятно, он называется иначе.)

Представьте улицу, где дома в один порядок и все смотрят окнами в чистое поле. Представьте, что в крайнем левом доме — наши, а в остальных — противник. Нужно взять третий дом с краю.

Как лучше это сделать?

Пойти в лоб — затея бессмысленная: противник сидит высоко, заметит еще в поле и расстреляет, прежде чем удастся достигнуть стен. Есть другое решение: перейти улицу против дома, занятого нами, а затем двигаться вдоль стен мимо второго дома к третьему. Противник

не может вести даже минометный огонь, потому что рискует бить по своим, а стрелять из пулеметов с верхних этажей вниз под стену невозможно: там мертвое пространство.

Улица — это Дон. Дома, фигурально выражаясь, — это хутора Рыбный (наш), Нижнекалининский и Татарский (противника) и высоты между ними. Как раз против Татарского левый берег открыт, штурмовать в лоб невозможно, тем более что румыны насторожены и именно отсюда ждут нападения. Мы перешли Дон между Рыбным и Калининским, прижимаясь к самым кручам, чтобы защититься от пулеметного огня, по краю обороны врага должны выйти в Татарский. Моя задача: после того как пехота вклинится в глубину обороны, занять и удерживать высоты справа и слева от Татарского, лишая противника возможности закрыть «ворота»...

Пятнадцать часов. Построение перед боем в овражке, занесенном снегом и укрытом кустарником. Кухня запоздала, провалилась в ерик, «чижики» (так все еще зовут нас) голодны, вид у всех сердитый. Кратко объясняя задачу, напутствую:

— Говорить много не время. Скажу только, что придется, вероятно, весьма тяжело, но, поскольку на нас возлагается серьезная задача, стоять придется насмерть. Все готовы к этому?

— Готовы.

— Вопросы есть?

Молчание.

— Больные есть?

Молчание.

— Я вижу в строю Мокринского. Вы убежали из госпиталя и не хотите долечиваться в батальоне. Военфельдшер Зотин запретил вам участие в боевых операциях. Вы думаете, что если вы дважды награждены, то можете нарушать порядок?

— Я, товарищ капитан, здоров, честное слово... Вот хоть у ребят спросите... А назад я не могу пойти...

Что делать? Прогонять? И надо бы, и жаль, знаю, будет ко всем приставать с жалобами, а вернее всего, все равно убежит за ротой.

— Хорошо, Мокринский, но только чтобы это было в последний раз. Слышите? Сержант Губарев, ко мне.

Красивый, с тонкими чертами лица и большими карими глазами, Губарев делает два шага вперед.

— Вам ставлю особую задачу: с тремя бойцами выйдете на край Калининского, в глубину обороны, займите домики, запирающие выход из балки. Днем у румын там только патрули, да еще солдаты шляются за пшеницей и подсолнухом... Вас обнаружат, как только мы начнем действовать, а может, и раньше. Придется туго, но отходить не разрешаю — поставите под удар наш тыл. Обо всем интересном доносить.

— Ясно. Разрешите взять пару автоматчиков?

— Берите... Да, кстати, я не раз говорил во время учебы, что на войне всяко бывает — и поспишь в снегу, и голодным походишь. Так вот, этот час пришел — обеда не будет. Все. Можете идти.

— Есть, идти...

Наш наблюдательный пункт — на левом берегу, против Нижнекалининского, у самой воды. Дон здесь не широкий, метров сто пятьдесят, на той стороне сразу за дорогой висит на круче целая гроздь дзотов, словно ласточкины гнезда на карнизе. Большая часть амбразур в нашу сторону, но и на хутор тоже в достатке, участок опасный...

Из-под обрыва гуськом, в плотном строю, втягивается в хутор первая стрелковая рота. Впереди — мои «чижики». Безлудный и Резенков с миноискателями. Они идут, обшаривая тропинку, не поднимая глаз, все ближе и ближе к дзотам. В ушах у них тонкое, комариное пение мембраны, глаза прикованы к земле: больше они не должны ничего видеть и слышать. Пожалуй, это самое трудное в бою — идти впереди всех и не поднимать глаз, не видеть, не смотреть на противника, хотя бы тысячи винтовочных дул глядели тебе в самое сердце. Но «чижики» держатся здорово. Вот они уже поравнялись с дзотами, вот уже прошли их и движутся на Татарский. Гитлеровцы прохлопали, мин здесь нет.

Проспав свой берег, противник увлекся нашим. Пулеметные струи, словно вода из пожарного шланга, пляшут перед глазами, и над амбразурой ревут мины, одна из них влетает в ход сообщения... Нас отбрасывает к стене. Убит корректировщик-минометчик. Пыль и дым застилают глаза, запоздалые дубовые листья кружатся в снежном вихре. Но надо смотреть. Вот уже вторая рота втягивается в хутор, проскочила.

В этот момент на высоту за хутором гитлеровцы бегом выносят батарею тяжелых минометов. Поняли. Первый залп выбрасывает столбы воды, второй черным дымом затягивает тропинку. И как раз там, где нужно проходить моей первой саперной.

— Бегом!— кричу.— Бегом...

За грохотом боя ничего не слышно. Машу рукой — не замечают. Впереди роты — старший лейтенант Бабушкин, он останавливается на минуту перед стеной разрывов, словно размышляя, и эта минута кажется мне вечностью, от волнения кусаю ногти. Но вот Бабушкин поворачивает голову и бросает через плечо краткое приказание, в тот же момент рота принимает левее, за дома... Через минуту первые бойцы выскакивают под кручу. Молодец, Бабушкин, благополучно...

Меняем наблюдательный пункт. С Калининским покончено, там остался только Губарев. В редком лесу передвижения не скрыть, оказавшаяся без работы батарея минометчиков подгоняет нас по пятам. Открытый берег, около четверти километра. Напротив, на обрыве, — вражеский пулеметчик и автоматчик, чертова парочка, и я перед ними как ванька-встанька на белой скатерти. Сначала пригибаюсь, потом перехожу на гусиный шаг, затем ползу. Пули повизгивают вокруг, белые стружки снега затягиваются в кольцо, слышу их шелковое шипение... В этот момент всем телом припадаю к земле, за воротник шинели брызжет сухая, подрезанная пулями травка. Пока лежу — румыны теряют меня из виду и начинают охоту за ординарцем и адъютантом, следующими позади. Тогда еще бросок, шесть—семь метров, и снова передышка. Ординарец беспокоится — не ранен ли я. Машу рукой — нет, еще здравствую.

Вваливаюсь, наконец-то, в щель. Мокрый, потный... Противник осатанел от злобы, шарит поверху разрывными и трассирующими. В щели — целое «общество»: красивая белокурая девушка, военфельдшер, лейтенант, связист, инструктор политотдела. Кто-то даже пытается развести костерик для удобства «приезжающих на войну».

Но засиживаться некогда, нужно двигаться дальше. Игра начинается сначала...

Стрелки вклинились во вражескую оборону, заняли Татарский, высоты справа и слева. И вдруг — катастро-

фа: мощной контратакой гитлеровцы выбили стрелковую роту с правой высоты на левый берег. Открываются тыл и фланг других рот и подразделений. Командир группы капитан Малышевский поминает всех святых.

— Капитан,— обращается он ко мне,— как саперы?

— А что, помочь?

— Выправлять... и поскорее...

Вызываю по телефону своего заместителя, старшего лейтенанта Юру Кондратюка, который ближе всех находится к месту прорыва:

— Приказать старшему лейтенанту Борисову: атакой закрыть брешь. Исполнение немедленно. Связь держать во что бы то ни стало.

Пятьдесят шесть «чижиков». Винтовки и два автомата. Они привыкли воевать молча — ночью, минами. И вот разворачиваются в цепь, все командиры — в строю. Не ложась. Не пригибаясь. Стреляя на ходу. Девять минут небывалой атаки. Высота гудит от криков, от разрывов, изрыгает пламя, как вулкан.

Юра Кондратюк, ростовчанин, носил баки. Все, даже генерал, звали его Пушкиным. Еще он любил стрелять из пистолета — куда ни приезжали, он ухитрялся организовать учебное стрельбище. И вот он сам ведет саперов в атаку. Осколок дробит ему ногу. Он падает на колени, вытягивает пистолет — смешное оружие в громовых раскатах боя — к вершине:

— Вперед, саперы, вперед!

Прямое попадание мины. Юра убит. На его месте вырастает старший лейтенант Борисов — молодой, озорной. У этого тоже причуда: чтобы казаться солиднее, носит короткие пшеничные усики типа «Чарли Чаплин». Как-то я дал ему выговор за озорство. Два дня он не показывался в районе штаба, на третий явился с «выгодным предложением»: он нашел два склада итальянских боеприпасов, один в нейтральной полосе, другой на переднем крае итальянцев. Он лично подорвет их, а я за это «подчищу биографию» — сниму выговор. Операцию решил провести днем, так как именно в эту пору итальянцы наименее бдительны. И подорвал. Пришел в роту черный от копоти, исцарапанный.

— Честный расчет, товарищ капитан,— сказал он.— Выговорчик прикажете писарю Коваленко вычеркнуть? Конечно, вычеркнул...

Теперь он подхватывает оборвавшуюся команду Юры:

— Саперы, вперед! — и, по своей солдатской слабости, прибавляет трехэтажный «стимул».

Убит командир отделения сержант Осипов, редкий образец дисциплины и спокойствия, первоклассный подрывник. Отделение ведет сержант Свечихин, великий мастер плотнического ремесла. Убит. Отделение ведет сержант Хрисуля, с месяц назад раненный в разведке под Вешками и, как Мокринский, сбегавший из медсанбата. Сержант Овчинников прикалывает немецкого пулеметчика, берет на руку пулемет и ведет огонь по ходу.

Внезапно Борисов появляется на КП, несмотря на мороз, в гимнастерке и мехжилете. Лицо потемнело, пшеничные усики, потеха батальона и соблазн казачек, мокры от снега.

— Разрешите узнать, товарищ капитан: как мне — переждать маленько или двигаться дальше?

— А где противник?

— Не мог догнать... Люди до этого вон сколько прошли.

— А кто на высоте? — почти кричит от нетерпения Малышевский.

— Сперва были мы, а теперь там старшина Смирнов собирает трофеи. Мы продвинулись на километр вперед и занимаем вторую линию вражеских окопов...

Малышевский бросается к телефону:

— Батарея?.. Огонь по вызову отменить, там уже наши. Когда успели? Ну успели, да и все тут. — И к Борису: — Опоздал бы на две минуты, я бы тебе показал, как терять связи! А теперь что сказать? Молодцы саперы! Чем поддержать?

— Стрелков вернуть, чтобы хоть правый фланг прикрыли... И патроны.

Гитлеровцы идут в контратаку. Саперы отбивают. Пауза. Минометный огонь хлещет вхолостую — враги не видят, не знают, где именно находится Борисов. Вторая контратака... Зловеще чернеет степь бесчисленными фигурами. Кончились гранаты и патроны, взвод Ситникова полуокружен. И тогда «чижики» вылезают из окопов и с криком «Урал!», без единого выстрела, идут в штыковую атаку...

Гитлеровцы оробели, нервы их не выдержали...

Ночь. Приказ — отойти. Боевые действия закончились. Отходят левая, центральная и затем правая груп-

пы. Борисов прикрывает отход, выносит убитых и раненых. Кстати, стремительность атаки буквально спасла нас от больших потерь — мы имеем только пять убитых и два легкораненых, на высоте свыше пятидесяти убитых и переколотых штыками гитлеровцев, прихвачен «язык». При обыске у него находим медаль «За штурм Одессы». Доштурмовался!

У старшины Смирнова полный воз добра: два станковых пулемета, ручные, автоматы, винтовки, ящики с немецкими патронами, пулеметные ленты.

— Смирнов!

— Слушаю, товарищ капитан.

— Брось барахло... Ну на черта ты везешь станковые пулеметы, если нам даже ручные не положены? Мы саперы. Выкинь их, Малышевский подберет.

— Никак не могу, товарищ капитан. Наши ребята завоевали. В хорошем хозяйстве и гвоздь находка, хоть стрелять ребята поучатся, мало ли какой случай.

Гитлеровцы психуют, рычит «ванюша», десятки мин сразу ложатся на лес, кровавые вспышки разрывов и грохот заполняют придонскую степь. Старшина Бондарев кормит «чижииков», расспрашивает у Смирнова, как он таскал патроны на высоту и как там было.

— Почти как в Сочи, разве немножко потеплее...

Нет, что ни говори, а Смирнов во всех случаях верен себе.

25.11.42

В три часа ночи Борисов со своими «чижиками» еще раз переходит Дон и занимает высоту у Калининского. Скаты обледенели, кое-где приходится ползти на четвереньках. Снег. Мороз. Попробовали окопаться — лопаты не берут: камень. Сто пятьдесят метров голой степи. Позади обрыв и незамерзающий Дон, впереди вражеские дзоты. Но высота господствует над ближайшей местностью, отсюда просматриваются балки и дороги в тылу противника, хорошо видны высоты. Ее приказано удерживать.

С наступлением утра веду рекогносцировку этого самого маленького в мире «предмостного укрепления». Выхожу на оборону, в голую степь. Со мной исполняю-

щий обязанности адъютанта старшего лейтенант Богданов.

— Идите назад,— приказываю,— справлюсь один.

— Не пойду.

Богданов белорус, да к тому же бывший штурман авиации, отчисленный из авиачасти после ранения, следовательно, вдвойне упрям.

— Не пойду... В уставе прямо записано, что подчиненный не должен оставлять командира одного на поле боя... Как я приду в батальон, если с вами что-либо случится?

— А еще там записано, что приказ командира — закон. Видеть я все должен своими глазами, вас послать не могу, а вдвоем идти — огонь накликает... Ясно? Так и скажете в батальоне...

— И вовсе это не ваше дело — днем лазить за передним краем, сами сможем сделать,— ворчит Богданов, но остается сидеть на бугре. Ослепительно сверкает снег. Вражеские дзоты просматриваются до мельчайших деталей, из окопов торчат головы солдат, как гуси на жнивье. Но не стреляют. По правде говоря, мне на этот раз (второй раз в жизни) совершенно безразлично — убьют меня или нет: смерть Юры оборвала что-то внутри, двигаюсь и делаю все механически, по инерции... Да, хорошая высота, а гранаты приходится таскать ползком, по две штуки... Здорово досталось «чижикам» — сорок шесть километров марша, бой, вот эта голая, со всех сторон обдуваемая ветром круча. А Губарев все сидит в Калининском...

Подхожу к «чижикам». За исключением охранения, все забились под каменный обрыв, покуривают, дремлют, опершись на винтовки.

— Как дела, товарищи?

— Да песни петь не хочется,— отозвался Овчинников, так и не расстающийся с трофейным пулеметом.

— А выдержим?

— Выдержим, раз надо... Только хоть бы погреться. Сменили бы или дров подбросили...

Отдаю приказ подтащить дров, выдать водку, поднести горячий обед в термосах. Посылаю сменить Губарева. Уже двадцать шесть часов, как он, голодный, держится на окраине. Раза два пытались сунуться гитлеровцы, пришлось сменить дом — разбило минами...

Похоронили со всеми почестями Юру и остальных павших товарищей. Я не мог пойти, чувствовал — не выдержу, да и нужно было налаживать оборону. Перед вечером приезжает Домикеев, спрашивает, как жизнь,

— Убит Кондратюк.

— Пушкин? Убит? Не может быть...

— Убит,— повторяю я, и вдруг судороги перехватывают горло, хочу подавить слезы, а они бесстыдно катятся, и губы дрожат, и не могу выдать ни одного слова. Домикеев отворачивается к окну, делает вид, что свертывает папиросу. Когда немного успокаиваюсь, говорит:

— Чем мне тебя утешить? Нечем. Война. Сам хоронил друзей. Сам плакал. А теперь пойдем к генералу, доложу, как выполнил приказ...

Докладываю в присутствии члена Военного совета фронта генерала А. С. Желтова. Член Военного совета и генерал объявляют благодарность батальону. В мое отсутствие к «чижикам» приезжал командир полка, на участке которого мы действовали, и Малышевский объявляет личную благодарность.

— Теперь уж и неудобно вас называть «чижиками», придется, видно, в «орлов» специальным приказом переименовать,— говорит генерал-майор Запорожченко.— А Пушкина жаль. Приказываю над могилами павших поставить каменный памятник — это были настоящие русские храбрые солдаты. Сводку читал?

— Нет...

— Тогда придется объяснить, какую задачу ты выполнял... Во-первых, разведка боем. Во-вторых, наш сосед слева перешел в решительное наступление, а мы отвлекли силы противника и демонстрировали ложное направление главного удара. Признавайся: голоден?

— Да, но Домикеев меня везет к Суворову — есть кое-какие дела, к тому же там должны быть пельмени или что-то в этом роде.

— Тогда все. Можешь идти.

14. 12. 42

Соседи слева ушли далеко вперед. Сомкнулось сталинградское кольцо. «Чижики» волнуются:

— Все, товарищ капитан, наступают, а мы сидим...

— Да кто — все? Кому приказано, тот и наступает.

Солдатское дело такое: скажут ждать — жди, прикажут наступать — наступай.

Нетерпение, впрочем, обуяло всех — от бойца до командира, стало духом войск. На Ю-88, от которого летом было тошно, смотрят с недоумением — неужели еще летает? Ладно, скоро отлетаешься. Бьет немецкая пушка? Ничего, сволочь, замолчишь скоро. Враги сидят в дзотах? Хорошо, досидитесь вы у нас... Летнее отступление не то что забыто, но стало поводом к остроумам.

Счастливая армия, которая, пережив горькие неудачи, сохранила здоровый юмор, чтобы посмеяться над своими ошибками и поиздеваться над противником. Бойцы и командиры, которые с кровопролитными боями отходили от самого Донца, во вражьем окружении, голодные, забрызганные собственной кровью, переплывавшие под огнем реки на вещевых мешках, устававшие до того, что спали на ходу, теперь шутят:

— Первенство по кроссу взяли соседи, но и мы дали сто очков братьям Знаменским.

Кстати, соседи на фронте — это вообще удобная вещь. О ком позлословить? О соседях. На кого кивнуть при неудачной операции? Сосед «подвел». При всем том соседом дорожат и встречают всегда почтительно.

На этот раз тоже сосед «подвел»: взяли в плен три вражеские дивизии, прошли до Калача, захватили огромные трофеи, о них пишут газеты. А плацдарм создавали мы. «Где же, братцы, правда?!»

Вызывают в штаб. У входа — группа командиров и бойцов, дивятся на пленного румына. Тощий, черный, в подпаленной бараньей шапке, в растоптанных ботинках, он стоит, согнувшись крючком, сверкая белками глаз:

— Моя не герман, моя руманешта...

... И вот, значит, привели мы его, — рассказывает автоматчик, — вывернули карманы, а там — колоски пшеницы. По снегу собирал. Дали ему полбуханки хлеба и целый котелок супу — прямо как за ухо кинул. Повар наш только головой качает: ну и едок! Навалили мы для потехи еще котелок каши, думаем — не осилит... И вот, братцы, аж страшно стало — сожрал.

Старая казачка сокрушенно качает головой:

— И это он, сопливенький, пришел к нам народом править. Стояли они у нас, все горсти показывали — вот, дескать, сколько русских осталось, жменька одна. Скоро всех в Волге утопим. А мы, дуры, плачем, жал-

ко вас, больных. А как стали вы наступать, забежали они: «Матка, капут нам, рус идет». Да, говорю, чего вы мельтешите, горстка ж их, сами говорили. Ты, говорит, дура, матка. И как поглядели мы на вас — опять в слезы. Какие вы все здоровые да хорошо убранные...

Иду к подполковнику Малахову. Он — мне:

— Завтра ночью мне нужно провести из-за Дона тяжелую артиллерию. Степь просматривается, а дорога по кручам узка и обледенела...

Ночью работаем — времени мало, взрываем. По льду у берега вдоль Дона от Матвеевского и Плешаковского идут машины на скоростях, способных довести до обморока московских милиционеров. На высотах догорает «рама». Ночь наполнена гулом моторов, сдержанным говором, скрипом тысяч ног — на нашей стороне; светом ракет, настороженным молчанием или припадками бешеной стрельбы — у противника.

К вечеру саперы возвращаются, приказываю отдыхать, но приезжает командир танковой части подполковник Моисеев:

— Давай дорогу, сапер.

— До Рубежинского уже сделал для Малахова, пройдете и вы.

— Мне нужно дальше. Гитлеровцы ждут прорыва от Рубежинского—Кривского, здесь у них минные поля, а мы пройдем под кручами и ударим через Нижнекалининский. Место, сам знаешь, удобное.

План операции мне уже и самому известен. Наш удар на Кружилин через Верхне- и Нижнекалининский, соседи идут в том же направлении из-за Ягодного. Группировка врага перед Рубежинским — Кривским остается в мешке. Справа от Базков фланг прикрываем уступчатыми заслонами по мере продвижения.

До вечера — рекогносцировка на местности, в ночь — «чижики» делают дорогу и снимают мины.

15. 12. 42

Ночь. Все готово. Саперы спят. Шесть часов отдыха перед танковой атакой. Тихий снежок ровным слоем маскирует дороги и машины. Изредка ухают тяжелые снаряды по окраине, домик вздрагивает и покачивается. С нашей стороны — ни одного выстрела. Ординарцы упаковывают вещмешки и укладывают сухой паек...

Дорога из Рубежинского круто сбегает к реке. Мощный гул моторов — идут танки. Гитлеровцы щупают дорогу снарядами: свист, удар — перелет.

Под обрывом покуривают «чижики» — тридцать человек в маскхалатах. Первый Т-34 сползает со спуска, разворачивается и останавливается. Сажая первую пару саперов — они сопровождают танки в прорыв... Еще и еще раз. Все танки уходят. У «чижииков» манеры бывалых солдат и нетерпение молодости. Взобравшись, они кричат в люк:

— Готово, поехали.

Машут руками, поднимают кверху винтовки.

Бой.

Он длится весь день. Генерал мерзнет в наскоро открытой щели на высоте у НП. Кругом снег почернел от мин и снарядов. Впереди, справа, слева — насколько обнимет глаз — одно и то же. Принимаем радиосводку от майора Криворотенко, действующего на правом фланге: отбил двенадцатую контратаку. В бинокль видно, как идут плотными массами гитлеровцы, как они вдруг начинают кружиться на месте, ложатся... не встают. Словно корабли, в белой пене и языках оружейного пламени бороздят степь танки — и наши, и немецкие. Вот один горит, черный столб дыма жирной спиралью раскручивается к небу. В нашу радиостанцию включается немец, говорит по-русски:

— Зря стараетесь, все равно загоним в Сибирь.

— Ну? — улыбается майор Каменецкий.

— Мы уже взяли Сталинград, мы уже на Волге.

— Ты вот что, ты давай пятки смазывай вазелином, а то мы с тебя завтра спустим штаны.

Немец загибает русским матом и исчезает...

Под Нижнекалининским штурмующая пехота натывается на минное поле. У «чижииков» жаркая работа: ползет разминировать Архипов. Ранен. Смирнов выносит Архипова и продолжает его работу. Ранен. Юрченко выносит Смирнова и разминирует. За один час снято семьдесят пять мин, пехота идет в проход.

Дорога отсюда идет вправо, на высоту, там видны дзоты и пушки. На высоту откуда-то из вражеского тыла выворачивается Т-34, укатывает дзоты и пушки. Огонь стихает, тем временем сержант-сапер Тесля со своим отделением режет проволоку. Под Татарским са-

перы помогают артиллеристам втаскивать на высоты орудия, чтобы бить прямой наводкой. Всюду, где препятствия, где нужно помочь, действуют сегодня мои «чижики»...

Сумерки. Возвращается первый десантник — тихий, молоденький комсомолец Могилин. У него пробито колесо, повязка намочла кровью и обмерзла. Опирается на ручной немецкий пулемет.

— Откуда?

— С танка, из вражеского тыла. Ранило. Винтовку разбило.

— Зачем ты тащишь пулемет, если сам еле идешь?

— Ребятам пригодится. А за мою кровь я отомстил, много там гитлеровцев положил...

Пробиты обе руки у Харитоненко, в спину осколком ранен сержант Гукин. В сумерках они слезают с танков, идут по вражеским тылам, прячутся в подсолнухе. По дороге натываются на сержанта Овчинникова — ранен в пах. Расстилают палатку, тащат — двое раненых третьего.

Харитоненко вцепился в палатку зубами: руки не действуют. Выбираются. У Дона подбирают санки и привозят сержанта в штаб.

— Здорово они били, ну и мы их лупили. Показывали танкистам, где пушки, гранатами били, трофейными пулеметами, потом связками тола. Будут помнить комсомольцев-саперов.

Очнулся Овчинников, оглядел товарищей:

— Вы лучше путешествовали... Умру. А свое сделал — будут помнить.

А там, на поле, в туманной к вечеру степи все идет битва. Три друга на танке: застенчивый, как девушка, Копий, белокурый весельчак Левченко, маленький, с девичьим голоском скромник и умник Серов. Входит танк на окоп, бьют румыны из автоматов, три друга отвечают гранатами. И уходит танк, и никого в окопе, кроме мертвецов. Убитый Копий сваливается на повороте. Левченко слева замечает батарею орудий, стучит танкисту прикладом — давай. И танк, как божья кара, лезет, рыча, на пушки, но еще успевают они сделать залп, прежде чем превратиться в куски железа, и прямым попаданием снаряда сметает с танка белокурого и розовощекого Левченко — в сумерки, в степь, в вечность, — и уже один Серов остается на танке. И дальше,

дальше идет танк, и нет уже у Серова ни патронов, ни гранат, и ранен он в ноги, в голове шум от мин, рвущихся на броне... Сваливается он в степи, очнувшись, идет к своим, да на пути заворачивает в землянку гитлеровского офицера, прикалывает ординарцев, тащит друзьям через линию огня ящики сигар и пачки сигарет... И, напрягая голос, как все оглушенные, рассказывает, как упал с танка и затерялся в степи сержант Холодков.

Вы, которым еще воевать, вы, которым еще жить и строить, поглядите вдаль, представьте себе сизую от снега, черную от разрывов, злую от огня степь, и неукротимый гул танков над Доном, и треск ломающихся орудий, и вой снарядов, и битву одного против десяти, и двух раненых товарищей, что зубами тянут на плащ-палатке третьего, умирающего... Представьте этих русских и украинских парней и отдайте им земной поклон, и спойте песню о них...

Раненых угощаем водкой, кормим, перевязываем и отправляем в санбат. Прощальные солдатские поцелуи. Харитоненко поднимает пробитые руки:

— Не могу обнять вас, товарищи, но не в позорном деле, а в честном бою пролил кровь. До свидания. Бейтесь хорошо, идите далеко, а мы еще вернемся и повоюем вместе.

К утру возвращаются остальные... Танки сделали свое дело: оборона врага шатается, как гнилой зуб. Нет, потери меньше, чем я думал, — два убитых, один, Овчинников, умер в медсанбате от ран. Позже всех вернулся Холодков.

— Вас считали убитым...

— Меня? Да у меня ни одной царапины.

— А что с вами стало?

— А ничего. Увидел раненого, прыгнул с танка, перевязал, направил в тыл. Пошел за танками, думал, попадет навстречу, проголосую по-американски, подвезут. Ну, так и ходил, пока танки ходили, где гранату в землянку швырнешь, где фриц на мушку сядет. У них там суматоха, за своего издалека принимают.

— Где же вы гранат столько набрали, что на целые сутки хватило?

— Да там немецкими все дороги и тропинки завалены, под гусеницами, как орехи, лопаются. Потом

танки ушли, и я совершил организованный отход. Погреться бы трошки...

Получает «норму», идет отдыхать...

17. 12. 42

В штаб приводят большую партию пленных, среди них — подполковник. Допрашиваем. Он командир корпусного саперного батальона, был брошен в семнадцатую по счету контратаку вместе со спешенным кавэскадром. Контратака провалилась. Больше резервов нет.

18. 12. 42

Бой достиг кульминационного пункта. Грохот движется волнами, как прибой. Все больше пленных, все дальше в оборону вгрызаются части.

19. 12. 42

Вечером свертываю штаб и сам выезжаю на запад. Проезжаем Нижне- и Верхнекалининский. Хутора разнесены в щепки. На дороге в бурьяне — немецкие винтовки, патроны, пулеметы, трупы, раздавленные орудия, сгоревшие легкие немецкие танки.

На высоте у перекрестка дорог Кружилин — Базки — Рубежинский сгоревший Т-34. Далеко в сторону отлетела башня, ствол орудия упал внутрь танка. Идем по его следу и читаем историю гибели. Вот он протаранил немецкий легкий танк — башня отскочила, борта с черно-желтыми крестами вдавлены. Немного дальше — раздавленная гаубичная батарея, под обломками трупы артиллеристов. Еще дальше — ямка на месте дзота. Еще одна батарея, на этот раз противотанковая. Разбитые в щепки сани с боеприпасами. И вот здесь — он сам, написавший гусеницами на снегу историю своей жизни и гибели.

Делаем привал в блиндажах дальнобойной немецкой батареи. Пушки — на месте, артиллеристы удрали. Блиндажи построены добротно, на всю зиму. В углу — потемневшие от копоти иконы.

— Вот драпали, даже бога в плену оставили, — шутят «чижики».

20. 12. 42

Три часа ночи. Снегопад. Нигде ни одного выстрела, ни одной ракеты. По всем дорогам в степи идут пешие,

скачут конные, скрипят обозы, светят фарами. Кажется, никакой войны, никакого противника нет, хотя еще в середине дня были немецкие тылы, и бой закончился уже в темноте — все неудержимо, неотвратимо рвется на запад. Настроение такое, что любой боец, не задумываясь, примет бой с целой ротой противника, попадись она ему. Но, кроме брошенных пушек, повозок, пулеметов, снарядов, мин, ничего не попадает.

Ошиблись дорогой и влетаем в крайние домики Чукаринского. Заходим в избу. Горит свет. Пожилая казачка растапливает печь. При виде нас садится к столу и плачет, причитая:

— Слава тебе господи, свои...

— Немцы есть? — спрашиваем.

— Минут десять назад, оканные, забегали. Спешат, видно...

— Как на Кружилин проехать?

— Да, сыночки мои, да подождите вы, я вот тут сальца поджарю. Родные вы мои, свой-то у меня тоже где-то сражается.

— Некогда, мать, другие подъедут.

У выхода из хутора от плетня отделяется казак — сивый, шапка лихо сбита набок. Прихрамывает. Точь-в-точь Пантелей Прокофьевич из «Тихого Дона». Всматривается:

— Вы чьи же будете?

— Как — чьи? Свои.

— А и вправду свои, разрази меня господь. Ну, здорово, казачки. С какой станицы будете?

— Какие там казаки, дед? Из Подмосковщины.

— Ага. Ну, все равно. Прошу до хаты. Дело у меня до вас военное.

— Некогда, дедок. А какое дело-то?

— Пленных, станишники, имею, сдать полагается.

— Что еще за пленные?

— Итальянской нации. Забегли до меня, тикают, вижу. Шумнул я на них — что, дескать, приспичило, высыпали вам казаки? А они черт те что подумали, винтовки бряк, руки в гору тянут. Оружие-то я от греха на баз в яму кинул, а они ждут решения судьбы, в горнице сидят. Дочка с кочергой на дверях пост держит... Да забегите, коли пленные не к надобности — так старуха пышек напекла... Как слышала, ужасно — ну, гово-

рит, слава те, казачки до дому вертаются, привечать надо.

Благодарим деда, утешаем — пышки не пропадут, к утру охотники найдутся.

Кружилин.

Только что кончился бой. Немецкий заградотряд попытался задержаться на высотах за станицей, но его накрыли артиллерия и танки. На перекрестке столпотворение вавилонское — кухни, пушки, танки, обозы, строятся колонны.

Сюда с двух сторон вошли наши и соседи (на этот раз не подвели), и вся эта масса людей, машин, танков походным порядком в шесть рядов идет по шляху в гору, на Каргинскую. Походя, от озорства устраивают целую иллюминацию — клубятся сигнальные желтые дымы, немецкие многохвостные, зеленые, красные, фиолетовые, белые ракеты ливнем перечеркивают горизонт. В небе эскадрилья «илов». Из-за облаков вывернулся немецкий разведчик, крутится над станицей, качает крыльями, дает сигнальные ракеты — очевидно, немцы потеряли связь и теперь пытаются уяснить, свои ли это бегут или русские наступают. Земля отвечает только огнем, затем два «мига» садятся на хвост немца, и тот драпает. С земли крик:

— Го-го, так ему, так.

— Давай, давай, справа заходи, справа, — принимает земля горячее участие в воздушном бою.

Капитан Краснов, едва отдышавшийся от погони за вражеским капралом, восторженно погибает соленое солдатское словцо:

— Ну, едри его в корень, Русь двинулась. Теперь ее ничем не возьмешь — на пушки плевать, на самолеты чихать и на смерть тоже.

В балках у Кружилина степь черна от румынских и немецких трупов — это работа танкистов Позолотина, теперь Героя Советского Союза. Мы гнали от Дона — он встречал тут, в тылу.

Интенданты считают склады с продуктами, я пытаюсь осмотреть инженерное имущество, артсклады, но, оказывается, их здесь так много, что и за день не обойдешь, к тому же оружием и боеприпасами, включая пушки и снаряды, забиты все балки.

В последний раз задерживаюсь на немецком клад-

бище. Несколько десятков рядов могил с крестами, на некоторых каски, на иных, воткнутые в изголовье горлышком вниз, бутылки из-под вина. В каждом ряду что-либо свое. Отдельно — могилы эсэсовцев. Здорово намолочено всякой сволочи.

Казачка рассказывает про старуху соседку:

— Алексеевна у нас старуха даже самостоятельная, только самолетов боится — страсть. Но когда супостаты объявились на станице, наших самолетов долго не было, а тут утречки налетели. Алексеевна, как была, в окоп кинулась, ан уж бомба южит. Бац... «Ах, спаси, господи, рабу твою», — кричит Алексеевна, а сама глазом зирк, звезду на крыле увидела. А бомба опять южит. «А никак, наши», — крестится Алексеевна да опять голову в колени. Бомба около хаты — бац, стекла ветром продуло насквозь. Алексеевна опять голову высунула, шумит: «А, слава тебе, царица всевышняя, казачки прилетели!» — да тем часом опять в окоп ныряет, потому как бомба опять южит...

Идем по Донской излуине.

Наступление Юго-Западного фронта нарастает, как лавина, по Дону. Левее нас группа наших войск движется на Тацинскую, правее — группа генерал-лейтенанта Кузнецова, заняв Богучар, выходит в район Чертково — Миллерово. Сломлена не только огневая мощь немецкой обороны, подорван дух войск противника. Наши танковые группы, прорываясь в его тылы, бороздят донскую степь, появляясь в самых неожиданных местах, громя немецкие тылы, перерезая пути отходящим частям, рассеивая и уничтожая резервы. Все более и более вырисовываются контуры гигантского плана, задуманного Ставкой, молот, расчетливо занесенный для удара, обрушивается на всю глубину немецкой обороны.

В большой школе полным-полно пленных. Вперемешку итальянцы, немцы и румыны. Румыны, оборванные, одетые кое-как, восстанавливают справедливость: разувает и раздевает немцев, забирают себе что получше, а им отдают свои обноски. Часовые не вмешиваются: это внутренние дела союзников. Партии плен-

ных самостоятельно идут получать хлеб — впереди итальянцы, позади румыны. Лихо сбив набок полуметровую баранью шапку, черномазый, как трубочист, румын кивает на идущих впереди итальянцев и обнажает в улыбке ослепительные зубы:

— Муссолина... капут!

Какой-то командир стрелкового взвода задерживает двух здоровенных мужчин в штатском, отводит их к канаве, затем разворачивает взвод лицом к задержанным.

— Узнаете вы их? — спрашивает он у бойцов.

— Узнаем...

— Вы помните, как они убежали через Дон к немцам, бросив порученный пост и засыпав песком пулемет? Я через них получил головомойку, весь взвод опозорился... — И к задержанным: — Ну, помогли вам немцы? Далеко убежали? Вы думали, что немцы вас приласкают, защитят, что русский народ пропал? Врете, сволочи. Вон как драпают «победители». А русский народ жил, живет и будет жить, и всякую мразь, предателей и перебежчиков, мы на дне моря достанем. Верно я говорю?

— Верно.

— Не скроются.

— Какое решение примем — вести будем или тут кончать?

— На месте решить.

— Некогда с ними, собаками, возиться... Наступать надо.

Взвод идет дальше, на запад. Запевала начинает песню.

22. 12. 42

Между Кружилиным и Каменкой есть высота, где дорога круто поворачивает вправо.

Здесь поработали танки. На три километра дорога завалена трупами немецких солдат и лошадей, раздавленными повозками, противотанковыми пушками, загромождена штабными бумагами. Мощные следы гусениц пересекают дорогу во всех направлениях, уходят в степь, и там тоже что-то чернеется по буграм.

Свернуть с дороги некуда. Расчистки хватит на неделю, а нужно двигаться вперед. И наши обозы и машины идут прямо по минам, по снарядам. Патроны,

как просо, поблескивают, перемешанные со снегом. Иногда из-под колеса вывернется бинокль, телефонный аппарат, пулемет или автомат. Мои «чижики» довооружаются сверх комплекта — на каждый взвод прихватывают по шкотовскому пулемету. Немецкие пулеметы не уважают — они хуже чехословацких. Кочубей тоже сует в санки «шкотову».

Каменка — небольшой хутор по дороге на Миллерово. На подступах утром был короткий ожесточенный бой: немцы хотели прикрыть отходящую артиллерию и большую колонну машин. Их смяли атакой в лоб и фланг.

По правой стороне дороги высятся подозрительные пирамиды, замаскированные снегом и кустарником. Подходим. Еще не засыпал снег стезьку, протоптанную часовыми. Отбрасываем ветки — патроны, снаряды, мины... Семь складов.

В центре Каменки, прямо на дороге, — свыше дивизиона орудий разных калибров, среди них, словно слон, охраняющий стадо, высится наш Т-34. В хате греются танкисты.

— Мастерской не видели? — спрашивают.

— Какой?

— Все равно, лишь бы починиться.

— Нет, не видели. А вы запросите свой тыл.

— Да, запросишь его так скоро. Все идут, едут, движутся, спешат, а мы как проклятые сидим. Мы ведь как воевали? Бензин немецкий, сардины голландские, сигары французские — так и топали. Командир только одно твердит — беречь боезапас, больше на гусеницы нажимать. Вот и нажимали... Сколько сволочей передавили, как вспомнишь за обедом — даже водка в горло не лезет. А вот теперь свищем на мели — на mine подловили, сволочи...

— А вы — как те артиллеристы... Пушку у них разбило, так они трофейную подобрали себе по характеру и постукивают.

— Думали уже. Танки, конечно, имеются немецкие, да дохлое это дело — свои подобьют... Что бронбойщики, что истребители — озверел народ, под горячую руку не попадается.

Посочувствовали. Отставать от части в такое время — дело, конечно, скучное. У меня Юрченко, ра-

ненный во время разминирования, прилетел, как говорится, в мыле — боялся часть потерять.

Сразу за Каменкой дорога вырывается в открытую степь — первоклассный грейдер, который немцы с присущей им аккуратностью обозначили вехами, собираясь ездить зимой. Более тяжелой дороги, чем этот грейдер, наверное, для шофера не существует на свете: ехать приходится зигзагами, как пьяным, объезжая с разных сторон трофейные машины. Они стоят здесь гуськом, в центре и по обочинам, через каждые двести—триста метров — итальянские «спа», семитонные немецкие, раскрашенные во все цвета, в том числе и желтые, цвета пустыни, «фиаты», легковые машины разных типов, тягачи. В кузовах — боеприпасы, обмундирование, штабное имущество. Справа от дороги — настоящая выставка образцов артиллерийского вооружения 1942 года, пушки всех калибров и всех союзников оси. Парад открывает гаубица, съехавшая колесом в канаву. Постромки обрублены, зарядный ящик на месте — видеть, brave пушкар так спешили переквалифицироваться в кавалеристов, что даже не поснимали хомутов.

Три, пять, десять километров — парад продолжается. В самом конце, недалеко от Поповки, на мосту застряла огромная дура «берта» со съемным стволом. Зрелище внушительное. «Чижики» заглядывают в необъятное дуло, пробуют замок. Батальонный философ и неутомимый стрелок по самолетам красноармеец Рыбалка выступает в роли экскурсовода:

— Ось яке стерво! Мабуть, вона мене перелякала пид Еланьской. Як садоне, та в другой раз, та в третий... Весь день лупцовала.

Что называется, свиделись на узкой дорожке старые знакомые.

Справа и слева от моста балка на добрый километр забита румынскими фургонами и машинами. По этой картине легко представить, как немцы и итальянцы, очумелые от страха, натыкались на свою громадину-пушку, загородившую дорогу, как проклинали расторопных артиллеристов, вовремя успевших смыться, как бросались в обход, буксовали, а потом, приняв гул своих машин за грохот наших танков, бежали, забывая выключить моторы. При этом румынские ездовые впервые за всю свою жизнь имели возможность поиздеваться над спесивыми немецкими шоферами: как-ни-

как, у румын были кони, а чистокровные арийцы шпарили пешком.

У въезда в Поповку — повторение предыдущего: через мост можно протиснуться только на лошади. Шоферы чертыхаются, растаскивая трофейные машины, чтобы пропустить свои.

Уже темно. На улице меня встречает начальник штаба дивизии:

— Сколько с тобой людей?

— Половина.

— Нужно организовать охранение... Знаю, знаю, сейчас скажешь, что прошли сорок с лишним километров... Ничего не поделаешь, передовые части ушли под Кашары, а тут кругом шатается всякая сволочь в достатке...

* * *

Поповка — хутор небольшой, но есть школьное здание. Там и приказано нам разместиться. Но когда я, оббив на крыльце валенки от снега, захожу в приземистое одноэтажное зданьице — школа-то, оказывается, «маломерная», — застаю в холодном коридоре врачей и сестер медсанбата. Сидят, нахохленные, на тюках и ящиках, греют озябшие руки в рукавах шинели. Спрашиваю:

— А вы чего тут?

— Не рады нам, что ли?

— Что вы, рад до небес, сколько не виделись... Только школа-то нам предназначена.

— Знать ничего не знаем, нам приказано здесь развертываться, — вступает в разговор заместитель начальника медсанбата. — Вы эвон какие здоровяки, от щек прикуривать можно, а у нас раненые.

— Кот наплакал у вас раненых, на двух руках по пальцам счесть... Да и те легкие, в очереди на выписку, небось, стоят.

— Не ваше дело...

В помощь заместителю начальника на меня наваливаются сестрички, в том числе та юная красавица, которой так я зачаровался еще во время «примерочных учений» весной, в заколдованной дымчатым лунным светом кубанской степи. Сейчас она бледновата, застыла, но темные глаза пылают:

— Постыдились бы обижать раненых!..

Ну, что тут сделаешь? Им назначили, нам назначили... Разве в такой спешке передвижений разберешь! Сдаюсь, отступаю, мы с комиссаром вселяемся в дом из двух комнаток неподалеку, тут и штаб. Основные составы рот на заданиях, с нами один взвод, кое-как размещаем их вперемешку с медсанбатовцами.

Это происходит утром. Днем заезжает дивинженер Домикеев:

— Захвачен складик саперного имущества — тол, мины, детонаторы, бикфордов и детонирующий шнуры. Своих-то, знаю, нет, подвоза ожидать не стоит, до Филонова и Новоаннинской расстояние — черт голову сломит, дороги переметает... Пошли мастаков разобрать, взять, что можно... Всего там грузовика на три-четыре, а у вас ни одного...

Прихватив сержанта и двух солдат при двух подводах, еду разбираться сам, благо недалеко. Берем главным образом разные взрыватели и шнуры, десятка три противотанковых мин. Этого добра запастись много не надо, его по пути наступления можно набрать почти всюду.

Возвращаюсь в сумерках. Комиссар говорит:

— Ужин решил устроить, а то катимся по снегам — ни вздохнуть, ни оглянуться... Пригласил двух сестер из медсанбата, которые не на дежурстве, адъютанта старшего.

— У меня водки и вина нет. А у тебя?

— Тоже нету... Пайковую, как тронулись в наступление, так и не выдают, говорят, боеприпасы важнее, а и те не успевают подвозить... Да ладно, обойдемся...

Выручили сестрички — принесли четвертинку спирта. Из трофеев. Где и как ухитрился начальник медсанбата выхватить из-под носа передовых войск такую драгоценность, неизвестно и непостижимо, но и бережет ее, что называется, глаз не сводя. Тут, говорят сестры, выделил, но сказал про нас, что, мол, надеется в случае чего на охрану... Да, война войной, а хмельное врозь, на дармовщинку надеяться пустое дело, только разве в смысле «ты — мне, я — тебе».

Хозяйка сварила пшенную кашу, к своему пайковому добавили две банки бельгийских консервов, припасенных адъютантом старшим. Ничего поужинали, только холодновато в хате, к меховым жилетам хоть и ши-

нель напяливай. Играем в карты — в подкидного дурака. Сестры обыгрывают нас, похихикивают: думали brave гвардейцы, соображают, а тут просто лопухи... Из первой комнаты входит ординарец Кочубей:

— Товарищ капитан, можно на минутку...

Выходим на крылечко, показывает рукой в сторону долинки речки Яблоновой, которая тут делает излучину и близко подходит к хутору. Мороз градусов пять, редкие хлопья снега, в этой мути метрах в двухстах медленно движутся в сторону передовой, в направлении Верхнемакеевки, вытянутые темные пятна.

— Немцы, — уверенно говорит ординарец.

Немцы, конечно, — кому еще? Единственный грейдер прочно оседлан нами, вот и пытаются пробиться из окружения по долинкам.

— Давай пулемет! — приказываю ординарцу.

Пулемет у нас один — трофейный, шкодовский. Отойдя от крыльца метров на пятнадцать, устраиваюсь в канавке, жду. Минут пять ничего не происходит, одно мутное пятно сменяется другим — прямо как в нелепом сне. Потом вдруг появляется темный отросток в сторону хутора, удлиняется в нашу сторону, истончаясь, медленно-медленно. И вдруг с вершинки — короткие проблески, слабый треск автоматной очереди. Я тоже даю очереди из пулемета, они звучат куда внушительнее и, очевидно, вполне убедительно — отросток начинает обратное движение, втягивается в пятно. Прибегает комиссар:

— Что за шум?

— Да ничего, немцы вон уходят...

— И пусть уходят, их, наверное, впереди уже наши поджидают... А ты что, решил сам в плен брать? Кишка тонка...

Больше ничего не происходит, вероятно, была нерешительная разведка. Вскоре темные пятна и вовсе исчезают, будто ничего и не было, — морозец, несильный снегопад, смутная степь. Адьютант старший уходит во взвод, чтобы проверить меры охраны, сестрички в карты больше играть не хотят, просят проводить на постой через дорогу...

— Передайте вашему начальнику, что его щедрость капитан на пулемете отработал, — смеется комиссар.

В хуторе стоим еще больше суток, но никаких происшествий нет — отоспались, отогрелись. И — дальше.

Ночью в украинской хате — село это является каким-то вкраплением, украинским островком среди донского казачества. Рано утром просыпаюсь от громкого разговора на кухне — слышен голос Кочубея и чей-то другой, по-детски тоненький, похожий на голос Серова.

— Ты мне и докладывай,— говорит Кочубей.— Я могу все твои дела разрешить в один момент... Ну, говори.

— Ничего не можешь, ты рядовой,— упирается детский голос.

— Рядовой,— смеется Кочубей.— А ты кто, генерал, что ли? Смотри, какой у меня трофейный автомат... Хочешь подарю? Говори.

Пауза. Видно, посетитель раздумывает над блестящей перспективой иметь автомат, но потом решается:

— Не скажу... Автомат ты все равно не подаришь, знаю.

— Ну, тогда и жди, пока капитан проснется. Он, брат, целые сутки с нами пешком топал, спать долго будет. А то я еще могу тебя и выгнать за неподчинение...

Приказываю Кочубею пропустить посетителя.

— Иди,— шипит Кочубей,— тоже мне делегат республики.

В комнату входит мальчик лет двенадцати — тринадцати. Большая шапка-ушанка съезжает на нос, одет в поношенное школьное пальтишко с бараньим воротником. Он бойко шмыгает простуженным носом и выпаливает:

— А вы, дяденька, командир или начальник будете?

Я дипломатически размышляю, как мне удобнее назваться.

— Ну, допустим, начальник...

— Мы вам пленных итальянцев приведем, ладно? А у нас чтобы винтовки не отбирали.

— Кто это — мы?

— Отряд наш, имени Октября. У нас все мальчишки, только одна девочка Катя, она у нас разведчица. А бригадир говорит, чтоб оружие сдать...

— Сколько у вас пленных?

— Нисколько. Мы сейчас пойдем ловить.

Кочубей заливается хохотом, «делегат» смущен и размашисто вытирает нос рукавом.

— Эге, этак вы меня обманете,— смеюсь и я.—

Пленных нет, а винтовки выманить хотите,— говорю я таким тоном, словно эти винтовки уже у меня в кармане.

— Честное слово, дяденька, приведем,— спешит «делегат». — Мы приведем, а вы нам потом разрешение напишите, ладно? Мы вчера одного из карабина ка-ак лупанули. А три сдались, мы их красноармейцу передали, он нам компас подарил...

— Ладно,— говорю,— если тут по садам, то ищите, да осторожно, а если в степи да в балки пойдете — самих арестую и посажу.

«Делегат» степенно топает к выходу, но, спустившись с крыльца, приударяет во всю прыть, и за окном слышен его восторженный голос:

— Разрешил... Айда.

— Одним словом, чистые шибеники,— говорит хозяйка. — Понасобирали винтовок и шаландают по балкам, итальянцев ловят. А те, бедные, сами рады сдаться в плен хоть кому-нибудь.

Районный центр Кашары — бывшая стоянка немецкого армейского штаба. Немцы укрепились здесь, отгородились рекой от танковых атак. Генерал не хотел терять времени — приказал обойти Кашары по высотам справа и степью слева... После короткого боя, заметив обходной маневр, немцы бросились наутек.

В центре поселка пусто, только через улицу перетянут плакат на немецком языке да на перекрестке стоит будка для регулировщика. Нам нужно достать бензина и папирос — снабжение запаздывает. Местные жители рекомендуют идти в дальний конец поселка. Идем. На улице стоит немецкая штабная машина. Шофер открывает капот, ругается:

— Разморозили, сволочи. Убивать таких водителей надо.

Чем ближе к складу, тем больше на улицах машин, по преимуществу легковых. Окраинная улочка завалена чемоданами, в которых уже успели похозяйничать местные жители. На снегу папки, тетради, записные книжки, фотографии сытых, откормленных, как поросята, офицеров. Наши интенданты забирают бумагу, копирку; связисты — телефонные аппараты.

На складе — сотни бочек бензина, масла, антифриза, более двух десятков заправленных машин, мото-

циклы. Хотя передовые части только что вышли из Кашар, «торговля» кипит вовсю. На подъеме в гору тоже чернеет табор фургонов и машин.

Беру бензин и масло. Из щели выволакивают немецкого начальника штаба и гестаповца. Женщина бросается на них с явным намерением вцепиться в физиономию:

— Замучили нас, душегубы, дочку угнали...

— Тетя, не волнуйтесь,— утешает красноармеец.

— Да как же мне, родненькие, не волноваться...

— Не волнуйтесь, тетя, сейчас состоится полный расчет.

Немцы падают на колени, плачут, что-то бормочут в оправдание.

— Видите, тетя,— продолжает боец,— они совсем смирные. У них только крылья еще не успели отрасти, а так вполне законченные ангелы...

У амбара лейтенант ведет мирные переговоры с бойцом. Боец завел мотоцикл и собирается ехать, но что-то не ладится с переключателем скоростей.

— Подари ты его мне,— говорит лейтенант,— ну на что он тебе?

— Пойду часть догонять.

— Чертова работа — догонять часть на одной скорости. Разве ж их на первой скорости догонишь? Они на лошадях чешут.

— А пешком швидче, чи що?

— А разве ж я говорю пешком? Теперь, орел, пешком только немцы жмут, а у нас сколько машин идет, на любую сядешь. А то, если сумеешь, заводи вот ту семитонку, роскошная машина, всю роту посадишь.

Оба смеются.

* * *

«Дедушка», как мы называли командира дивизии,— сначала в звании комбрига, а теперь генерал-майора,— говорит:

— У меня теперь коней, как у Чингизхана, даже на что уж непривычная нам скотина мул, а и то есть... На днях поехал догонять передовые части: час еду, два — ни одного пешего, все обозы и обозы. Вот, радуюсь, какие у меня тылы поворотливые! Спрашиваю — где пехота? «Которая,— говорят,— впереди, а которая сбоку, смотря какую нужно...» Я вперед, я вбок — нету пехо-

ты, пропала моя царица полей... А потом выяснил — вся пехота пересела на трофейных коней, чтобы немцев догонять легче было... Так что я теперь командир особго рода войск — конизированных! — смеется он.

Конечно, немцы не по доброй воле бросают невообразимые по цене трофеи, транспорт и снаряжение. Машины приходится бросать потому, что на дорогах при отступлении не пробиться, закупорены, завьюжены; на лошадях бы можно и обочинами, они «маневреннее» хоть верхом, хоть в упряжке, но всюду то и дело возникают «котлы» окружения, так что приходится удирать врассыпную, по ложкам и балкам, хотя, впрочем, и это не приносит успеха. Командир дивизии, имея в виду трофеи, в том числе склады с продовольствием, пошучивает:

— У меня привычка «дедовская», мне одной победы теперь мало, а чтобы и закусить за счет противника. Проигрался в пух и прах, хоть штанами — а плати! Орлов моих теперь получше знаю, взбодрены, поймают фашистов за шиворот — не выкрутятся... Чего фашисты хотят? Заслонами да опорными пунктами заставить нас на месте топтаться, бой не бой, а времени перевод, авось что потом образуется... А наше гвардейское дело — на фланг, в обход да вперед! Придет время — «зачистим»...

Действительно, боев по фронту войска наши почти не принимают, все устремлено на обход, на охват, на маневр. Скрипит степь полозьями, дымится снегом изпод гусениц, бывает, что пленных захватывают в одном нижнем белье. Батальон А. Попова путешествует на танках по целине. Сам комбат выйдет вперед подалее от танка, чтобы компас не врал, поскольку рядом с громадой железа «прибреживает», сверится по карте — и дальше. Батальон поредел, всего чуть за двести «активных штыков», а пленных набрал за тысячу. Лубопытства ради в штабе посчитали, и получилось, что на каждого солдата в наших частях, включая штабы и тылы, уже приходится по два пленных гитлеровца, не считая убитых. Вообще картина разгрома фашистских войск в донской излучине, особенно когда видишь ее своими глазами, такова, что, сколько ни вспоминай историю, в том числе поход Наполеона, ничего подобного для сравнения нет...

Взгляд из дня сегодняшнего.

Немцы наступали через донскую излучину на Сталинград летом, в жару. Были, конечно, пылица, чад, плохо с водой, но зато и «каждый кустик ночевать пустит». Отступали — зимой, в снегах и морозах, в одежке, для зимы неподготовленной. Зазнайство подвело. Читал позже воспоминания немецких генералов и полковников, жалуются чуть не на тридцатиградусные морозы. Это — вранье в самооправдание. Не было таких морозов! И лучшее свидетельство практика — У НАС В ВОЙСКАХ НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО ОБМОРОЖЕННОГО!

А вот что о наступлении нашем пишет дважды Герой Советского Союза Д. Д. Лелюшенко: «Достойный вклад в эту победу внесла 3-я гвардейская армия. Она с боями прошла около 400 километров, освободила более 600 населенных пунктов, в том числе Морозовск, Верхнюю Тарасовку, Глубокий и другие. Разгромила девять вражеских дивизий, пленила несколько тысяч солдат и офицеров противника, уничтожила и захватила большое количество боевой техники и вооружения».

А что значит — «несколько тысяч солдат и офицеров»? ТОЛЬКО наша дивизия за семь первых дней наступления, с 16 по 23 декабря, взяла в плен 7405 гитлеровцев! Так при том, что дивизия была недоукомплектована и приходилось два пленных на каждого человека в дивизии, считая и тылы... Но точные цифры, конечно, я узнал позже, из той же статьи Д. Д. Лелюшенко, а он — из документов.

25. 12. 42

Говоря откровенно, никаких крупных сражений не происходит. Немцы слишком растеряны и ошеломлены, чтобы оказать сопротивление, а наш генерал действует решительно.

— Мне на мелкие группы плевать, — говорит он, — мне время дорого, чтобы не дать противнику построить оборону...

Сегодня вышли к реке Калитве.

Соседи наши отстали: левый — километров на шестьдесят, правый — километров на сорок. В тылу и левее обнаружена крупная группа немцев, обстреливающая из орудий совхоз под Кашарами. Нам приказано остановиться на рубеже Калитвы, однако генерал

наш смотрит дальше и, с ходу форсируя реку, захватывает значительный плацдарм на правобережных высотах. Кстати, в наши руки попадает приказ немецкого генштаба, где частям ставится задача любой ценой не пропустить нас через Калитву. Опоздали. Теперь немцы из всех сил пыжнутся, чтобы столкнуть нас, разгораятся жестокие схватки. Опросом пленных выясняем, что против нас действует свежая дивизия, только что прибывшая из Франции. Грузили и везли ее с такой поспешностью, что один полк потеряли в дороге. Итальянцев и румын на фронте нет, кончились.

Подводим итог первого этапа. За десять дней уничтожено до десяти тысяч солдат и офицеров, около восьми тысяч (точнее, 7405) взято в плен. Колоссальные трофеи только начинают подсчитываться. Наши потери: две пушки, четыре или пять подбитых танков — в материальной части и совершенно незначительные — в живой силе.

Мороз. Воздух словно дымится от инея. На дорогу из балок выходят подмороженные немцы, итальянцы и румыны, стоят и ждут, кому сдаться в плен. В Позднеевке, у моста, долго дивимся на колонну странных машин — это что за орудия смерти? Оказывается — вошебойки. Кочубей в восторге:

— Вот, черти, пушки побросали, машины побросали, а вошебойки куда довели. Должно быть, голодной куме — хлеб на уме, а зимнему фрицу — вошебойка.

К вечеру получаю приказ организовать оборону в районе Позднеевка—Мельничный. На передовых оставляется только боевое охранение, основные войска снимаются и уходят на ликвидацию группировки в тылу. Руководит операцией сам генерал.

— Вот теперь, когда остановились, можно и порядок наводить, — говорит он. — Всякому овощу — свое время.

Красноармеец Сегайло просится на двое суток в отпуск — где-то поблизости находятся его родные.

26. 12. 42

Группа немцев ликвидирована. Жаль, два генерала удрали на самолетах. Соседи вышли на рубеж, сужаем фронт. Красноармеец Сегайло пробыл сутки дома и вернулся.

— Что же недогулял?

— Какое там гулянье, все думаешь — а вдруг часть ушла? И замучили меня... Что баб набралось, что знакомых, кто плачет, кто за освобождение благодарит... И все расспрашивают: ел я дохлых лошадей или нет? Им же немцы наговорили, что нас горсточка осталась, а кто еще не убит, так от голода помирает. Вот отца и мать с собой привез, поживут тут, а в случае выступать — я всегда готов...

Объявляю приказ — семьдесят два командира и бойца награждены орденами и медалями. Борисов получил орден Александра Невского.

Вот тебе и «чижики».

3. 1. 43

Сегодня у нас праздник: в газете опубликован Указ Президиума Верховного Совета о присвоении нам гвардейского звания. Кроме того, мой батальон представлен к ордену Красного Знамени за оборону на Дону, за августовское наступление, за атаку у Татарского, за танковый десант, за разминирование, за обеспечение наступления и другие дела. По этому поводу устраиваем небольшой ужин с приглашением гостей — первый ужин с вином с начала прихода на Дон. Есть за что выпить. Ничего не поделаешь.

Наступление продолжается.

Комиссар Шульжик разговаривает с солдатами во второй роте:

— Вот вы замучили Вовка — дескать, некуда нам писать и должность твоя, как письмоносца, липовая... Кубань и Дон очищаются, сами видите, а потому завтра раздадим конверты и бумагу и чтоб строчили домой. Понятно?

По-моему, это самая короткая его и самая блестящая речь. Письмоносцу Вовку есть работа — и все ясно. Тем более, что солдаты в батальоне главным образом с Кубани и частично с Дона.

* * *

С командиром дивизии генералом Запорожченко встречи у меня довольно частые — иногда случайные, иногда при вызове на постановку задач. Они у нас многообразные — минирование, когда ожидается контрудар, — главным образом вдоль дорог, поскольку сте-

пи заснежены и иссечены балками,— разминирование, когда отступающие немцы пытаются насовать «пробок» нам; порядок на мостах и мостиках, которые при отступлении взрывают или когда они обрушиваются под многотонной техникой, на которую строители не рассчитывали,— все это наша, саперная забота. Не говоря уже о переправах через реки и речки.

При очередной встрече командир дивизии торопит, торопит:

— Мне оглядки да прикидки не указаны, мне рубеж указан...

В тылу у нас солидная группировка немцев. Какая? Не очень ясно, кроме одного — растрепанная, дезорганизованная.

На передовой остается довольно жиденький заслон, основные силы незаметно снимаются и уходят в тыл на ликвидацию окруженной немецкой группировки. Риск большой — по данным разведки, перед нами стала свежая немецкая дивизия, только что переброшенная из Франции. Но, хотя дивизия, говорят, эсэсовского толка, контратаковать сразу она не решается, что могло сулить успех, вероятнее всего, частный, но для геббельсовской пропаганды полезный. Толкутся на месте, опасаются — действует «сталинградский синдром». А тем временем тыловая группировка ликвидируется и наши части возвращаются.

Мы минируем, минируем. Свое «имущество» осталось за Доном, не подвезти — используем трофейные металлические противотанковые мины, стандартные заряды, пачки тола в самодельных деревянных корпусах-ящиках, спецзаряды на электродетонаторах. Простор для выдумки — изобретай, пробуй... «Каша» необычная, горячая, гитлеровцы часто «обжигаются».

Получается для них «не та война».

Одно из происшествий.

Гитлеровцы после долгих колебаний ожесточенно контратакуют. Предполагаемая цель — «скатить» нас с высот за речку Калитву и закрепить рубеж. Стрелковых сил у нас маловато и, как всегда в таких случаях — «саперы, вперед!». Нам приказывают одним взводом держать высоту за Калитвой. Участок любопытный, в обрамлении двух оврагов напоминает перевернутую «вверх ногами» букву «у»: внизу, по берегу, метров восемьсот, сверху, в конце длинного, поросшего бурь-

яном склона, метров сто пятьдесят. Степь в этом «гирле» ровная, снега сантиметров тридцать — отсюда и следует ждать удара.

Перед вечером, в сумерках, выходят со взводом капитан Казаков и сержант Мунтян, молдаванин, смысленый, умный, смелый. Прихватывают в сани самодельные мины — тол в деревянных ящиках. Почему не трофейные металлические, которых у нас полным-полно? Металлические обнаруживает миноискатель, деревянные — черта с два! В упряжке мулы, другой «тягловой силы» нет.

Ночь мутная, белесая, с метелью. Размышляли:

— Земля мерзлая, окопа не вырыть. Надо устроиться в отвершках оврага, действовать перекрестным огнем.

— А если танки?

— Заминируем...

— Выкопают...

Припомнили «минные поиски» на Дону.

И немцы, и мы действовали единообразно, минировали в шахматном порядке. Для минирования порядок удобный, но удобный и для разминирования — три первые мины нашел, все остальное ясно, можно навозными вилами выковыривать... И тогда, с опорой на практику геодезии, которой и сам комбат занимался, решили вести координатную систему минирования. Канительнее, по правде сказать, но зато каждую мину надо искать по отдельности, а если еще поставить танковые в смеси с противопехотными, то и не подступись! Выдумка уже была опробована ранее при результатах, для оценки которых поднимают большой палец.

По координатам, нестандартно, решили заминировать и «гирло» между оврагами. Лунок не выдолбить, просто рассовали мины в снег — к утру метелью при ветре все зализало, кусок степи в горловине выглядел чисто и гладко.

Только стало светать, сунулась пехотная группа, потрещала автоматами, но, наткнувшись на огонь двух шкодовских ручных пулеметов и автоматов, быстро отошла. Полез танк. Подорвался. Под прикрытием огня вылезла в горловину небольшая группка гитлеровских саперов с миноискателями — в ушах ровное гудение, никаких тревожных высоких нот. Решили — ми-

на была случайной. Полез броневик. Подорвался. Опять ползали саперы, шарили руками, нашли одну или две мины, больше, если исходить из шахматного порядка, нет. Пошел еще танк — подорвался...

Трудно гадать, что думали и как честили своих саперов немцы, но горловины пройти так и не смогли — пехоту «подметал» огонь с близкого расстояния, а танки подрывались.

Между тем общая ситуация осложнилась — правее и левее, за оврагами, немцы потеснили жидкие порядки нашей пехоты, и саперы оказались в полуокружении. Казакову и Мунтяну было приказано отойти на другой берег. Мулы уцелели, перестояли во рву, сани налегке — мины израсходовали, продукты приели. Навалились в сани солдаты, сколько могли и как могли, но сначала мулы упрямо потянули в сторону немцев, а потом на середине склона, который к тому же простреливался редким огнем с флангов, остановились и ни с места. Чего только ни делали: и тянули, и толкали, и хвосты крутили. И смех, и горе! Сумерки, снегопад, полуокружение — а дальше-то что?

— А дайте я им над ухами из автомата врежу,— предложил кто-то.

— Да врежай,— согласился Мунтян.— Не зимовать же тут!

И «врезал», не предвидя результата, который получился: мулы, до того будто вросшие сквозь снег в землю, сорвались и понесли под уклон. Сами по себе, без седоков — вывалились кто как. Остановились уже на Калитве — сани перевернулись, остатки патронов и гранат посеялись в снега...

За это время комиссар Шульжик в хуторе, немало потрудившись с солдатами, превратил один из сараев в баню. Понизу из щелей изрядно поддувало, но это уже мелочи — хорошо было! И там уже, в блаженном расслаблении и плеске воды с небольшим призапашком нефти — приспособили в качестве бака трофейную автоцистерну — слушал я перебиваемые взрывами смеха рассказы солдат о том, как казаковцы-мунтяновцы держали свой необычный «плацдарм». И вот что меня особо занимало — больше всего рассказывали не о том, как было опасно, как мерзли, а об истории с мулами...

Вот когда я впервые мог сказать, что батальон доучился, психологически возмужал и стабилизировался,

стал настоящей боевой частью. Война — жесткое и жестокое психологическое и физическое испытание, испытание на правильную оценку окружающего, воображения, выдумки, находчивости. На солдат, которые выдержали эти испытания, командир может положиться в любых обстоятельствах и чувствовать себя уверенно.

Пожалуй, именно на Калитве произошел и окончательный перелом во мне — кончились нервные и психологические «вибрации».

* * *

Было ли в этом эпизоде нечто особое? Да нет, самое обыкновенное по той поре происшествие, случались и позакрученнее сюжетом. Стрелковый комбат А. Попов, первым форсировавший Дон по нашим канатам, рассказывал уже за Калитвой:

— Понимаешь — ночь, снег, метель, закрутились, ориентиров никаких. Дорогу потеряли. Меня озноб трясет от мысли — померзнем к чертовой матери, и так сколько уже в ходу, в сугробе передых, кухня черт ее знает где, жуем мерзлое. И вдруг — хутор смутнеется, домов двадцать пять — тридцать. Это ж отогреться можно, переспать! И что ты думаешь? Послал разведку, доносят — там немцы. Э, думаю, так не пойдет, надо что-то делать. Знать бы еще, сколько их там, — так ведь не знаем... Советуюсь с заместителем, говорит — давай возьмем хутор, и все. А я думаю: станем вот так брать с ходу, заволынимся, притопчут нас огоньком в снег — опять же мерзни... Рассудили — ну их к черту, не будем мы их ликвидировать, если бы даже сил хватило, главное — пусть теплое место освободят... Разработали план «вытеснения»: одна рота начнет фронтально, две справа и слева зайдут, вскоре за первой вступят. Что там немецкий командир подумает? Подумает — окружают! А этого они боятся...

... Вот так и сработали. Нормально получилось — заметались немцы да и посыпались к выходу из хутора, который мы оставили открытым, только по последышам наша засада ударила, арьергард протригла... Хорошо переночевали. Утром командир полка поздравил с успехом, сообщил, что мы «фронт прорвали» и на соседних участках немцы тоже отступают... Только, сам понимаешь, я ему главный стратегический замысел — про

поспать в тепле — не разъяснял, мало ли что, не так поймет... Интересная война пошла...

А по поводу действий нашего взвода было несколько комментариев. Начальник штаба стрелкового полка, когда я ему рассказал, что саперы позиции вот удержали, а пехота за рвами «пятки смазала», обозлился:

— Вы саперы, с вас и спрос другой... У нас пополнения с горсть и то необстрелянные. Соображаешь разницу?

Казаков:

— Да ничего особенного, товарищ капитан. Только, хоть наказывайте, хоть нет, карточки минного поля не сделали — ночь, снег, ни черта не видно... Так что разминировать, когда наступать станем, тоже на ощупь придется. И добро, что противопехотных не сунули, все же проще будет...

Солдат Рыбалко:

— От же бисова скотиняка, эта мұла, ничего не понимает в военной тактике — зачем сначала к гитлерюкам понесла? И чего у нее уши такие длинные?

Впрочем, скоро экзотическая «тягловая сила» из батальона исключилась — она была «нештатной». По какой причине и были оставлены мулы казачкам на Калитве.

* * *

Комбату даже отдельного саперного, хотя он в правах командира полка, не положено знать, что делается в соседних дивизиях, а тем более армиях. Немного и в общих словах информирует дивинженер — «Полный успех!». Но мы все, от комбата до солдата, вроде не то каким-то неведомым шестым чувством, не то «просто кожей» чувствуем состояние дел — то, что начиналось с донского плацдарма в сумеречной метельности, нелегко и нервозно, постепенно набирало размах и ускорение. Это чувствуется и сейчас — глубокими вклинениями гитлеровцы сбиты с Калитвы, боясь охватов, которые все-таки происходят, откатываются аллюром три креста, не только не успевая выжигать станицы и хутора, но и бросая тяжелую технику и различные склады. Сберечь бы голову, для чего надо поскорее унести ноги!

При такой обстановке, «дыша в затылок» стрелко-

вым батальонам, входим в Верхнетарасовку. Это — станция на железной дороге Воронеж—Лиски—Шахты—Ростов-на-Дону, между Миллеровым и Глубоким. Дивинженер мимоходом говорит, что эта линия «питала склады боезапаса и вещевого довольствия» для окруженного в Сталинграде Паулюса. До нас это «теоретическое обобщение» прошлого доходит слабовато, поскольку от «деблокирующей» группировки Манштейна остались рожки да ножки, что мы видим сами. Важнее для нас другое — впервые с тех пор, как мы выгрузились в районе Филоново—Новоаннинская, прошли бузулукские степи и донскую излучину, выходим к железной дороге, а это — связь со всем и со всеми. Столько уж насиделись и находились в степной «безжелезнодорожности», по «грунтовкам», что вид рельсов и паровоза рождает праздничное настроение, делает сильнее вроде бы. А старшины в ротах объясняют суть солдатам и по-своему — «теперь уж наркомовскую будем получать как надо, а то по этим снегопрорвам и по такой дали ее и подвозить перестали». Идейка, конечно, «на уровне желудка», но, с учетом, что всяко лыко в строку, тоже действует ободряюще.

От Калитвы до Верхнетарасовки километров тридцать, начали движение с наступлением сумерек сомкнутым порядком, пришли в мутном рассвете с ленивым снегопадом. Тут поесть бы да поспать, но с ходу — приказ:

— На станции несколько составов с продовольствием, два вагона горят — потушить, взять под охрану. Временно, пока не подтянутся тылы — потом передадим им. В поселке склады с продовольствием и всяческим спиртным, от французского вина до плохого коньяка и шнапса — проверить, не минировано ли, взять под охрану. Через несколько часов сюда перебазировается штаб дивизии, проверить, не заминированы ли здания...

Вот тебе и поели, вот тебе и поспали!

Из песни слова не выкинешь — через прогоревшие стенки вагонов вываливались и разбивались ящики с консервами, не пропадать же, верно? Вскрывали и ели консервированные голландские и бельгийские супы, сардины, говядину. Чтобы проверить на минирование склад со спиртным, надо двери сбивать? Надо. Сбивали. А может, мины в бутылках и бочках тоже запрятаны? Фантастика? Ну и ладно, черт с ней — открывали.

А если уж открыто, может, попробовать? Не дело, конечно, но шустрый солдат-узбек напомнил изречение из шариата, что ли: «Нельзя, но если очень хочется, то можно». Есть ли, нет ли что-либо подобное в шариате, проверять некогда и некому, но — пробовали. «Для сугрева», — варьировал мусульманскую мудрость солдат-пензенец.

Сознаюсь — командиры в штабе и ротах боялись этой встречи со складами больше, чем с отборными эсэсовскими головорезами. Что как пойдет загул? Психологически понять можно — хватили солдаты всякого лиха, навоевались, намерзлись, наголодались вдосталь, как не отвести душу, тем более, что «за счет противника». Но пьяный с оружием — дело страшноватое, с непредсказуемыми последствиями.

К счастью, если не считать небольших казусов и курьезов, все обошлось, солдаты и младшие командиры искус выдержали. При том, что, как стало известно позже, некоторую толику коньяка и шнапса в разной расфасовке припрятали по ближайшим сараям и сугробам. А ухватистый старшина Смирнов, с разрешения командира Борисова, обзавелся подводой и погрузил в сани чуть не сорокаведерную бочку шнапса — рыжевато он, самогонкой припахивает, но «по крепости заменяет».

— Что значит «заменяет»? — вопрошал я позже Смирнова.

— Так, товарищ капитан, водки наркомовской уже с месяц ни капли не выдавали и еще дожидаться сколько.

Железная дорога теперь...

— Это и я солдат утешал... А теперь думаю, может, немцы порвали где мосты, сколько ремонт прокантится... Так я вместо нормы шнапс выдавать буду. Заменять, значит. А брать тут надо, тыловики налетят — шиш с маслом нам достанется, все опечатают...

Что было делать? Махнул рукой — ладно уж...

Самое любопытное то, что себе старшина Смирнов или не наливал вовсе, если не промокал вместе со всеми, или наливал столько же, что и всем.

Очень интересный был человек — неунывающий, энергичный, оборотистый, хитрюга в интересах роты и честнейшая душа. Всегда вспоминал и вспоминаю его, думаю — побольше бы таких при всяком деле...

Вот так случилось в Верхнетарасовке. Огромные трофеи от Манштейна не только радовали, но чем-то уподобились хождению по минному полю, в котором неизвестно что и намешано — и противопехотные, и неизвлекаемые... Поэтому и я, и все в штабе даже обрадовались, получив приказ на движение к Северному Донцу. Меня напутствовал начальник штаба:

— Вот тебе приказ комдива — утром быть на Северном Донце, напротив Давыдо-Никольского. Задача — найти или организовать переправу для танков и артиллерии. Как, что — решите с дивинженером, он выедет попозже...

Ушла первая рота. Я задержался в штабе и выехал в санях через час с лишним. Нагнал роту уже в степи. Сумеречно, но как-то светло, малоезженная дорога, снежок. Обгоняя роту, обратил внимание на некую странность: как правило, солдаты не носили противогазов, разве что изредка сумки от них, в которых держали гранаты, патроны, или табак, или мерзлый хлеб. Не носили зимой и фляжек — вода все едино замерзает, чего ледышками брякать, в крайнем случае горсть снега можно перехватить. Противогазные сумки были кое у кого и сейчас, но вот что удивительно — на поясе каждого немецкая фляжка в суконном чехле или даже без чехла. Что за предчувствие жажды на пути к Северному Донцу? Странно.

— Остановись-ка, — приказываю ординарцу Кочубею. — Надо с командиром потолковать.

Командир Бабушкин докладывает, что рота выполняет приказ на передислокацию, происшествий нет.

— Отчего это все с фляжками?

— Не проверял... Личное табельное имущество.

— Постройте роту в одну шеренгу вдоль дороги, проверим.

Начинаю с правого фланга. Первая же фляжка полная — полна шнапса под самую пробку. Приказываю:

— Вылить!

Понимаю — жестокий приказ. Надеялся «погреться» солдат, малость «забыться», «поднять настроение» к случаю. Жалко. Но и оставлять нельзя — выпьют в степи, сморются, обморозиться можно. Не говоря о всяком прочем... Одна, другая фляжка — все полны и все

«опрастываются», снег вдоль дороги берется рыжими пятнами. Вдруг впереди человека на три какой-то солдат падает, тут же трещит короткая автоматная очередь. Хмель пошатнул, поскользнулся? Установить невозможно. Хорошо, что пули безвредно ушли в степь. Но происшествие приносит и пользу — когда я проверяю фляжки дальше в шеренге, все они пусты. Случайная автоматная очередь как бы подстегнула осознание сути происходящего, и, наверное, не без передачи команды от одного к другому, — мне не слышно, ветерок посвистывает, — солдаты выливают шнапс сами. Половину шеренги я просто осматриваю — пятна на снегу свидетельствуют сами за себя. В это время останавливается возле нас броневинок, сидящий в нем офицер вылезает, узнав меня, спрашивает — чего это я развел парадный смотр в степи? Отвечаю шуткой, прошу подвезти.

— Так некуда, у нас комплект.

— А я сверху. В Давыдо-Никольский спешу.

— Пронижет насквозь... И в степи ветерок, и мы с ветерком...

Пристроился. Пронизывает. Срабатывает память — как в кино, вижу себя возле башни танка на выезде из окружения на «зимней войне» с финнами. Только тогда на воздухозаборнике танка оттаивали валенки, а сейчас и ноги коченеют. Но зато часа в два ночи я уже в каком-то хуторке напротив Давыдо-Никольского. В большой пустоватой комнате полно народа, тепла хватает на всех, а улечься и на полу негде. Приходится устраиваться на узкой лавке у входа — шинель в изголовье, шинель под бок, шинель вместо одеяла. Как хватает на все одной шинели? И поныне не понимаю, но — спал ведь...

Утром нашел дивинженера Домикеева, двинулись к Северному Донцу для «решения задачи». Но она никак не решается. На подходе вихры жидкоствольного леска, может, бумагу и спички из него делать можно, а моста не построишь. Настилом на лед пригодится? Надо посмотреть. Через окаемок кустарника справа видим темную воду — длиннющая и широкая полынья. Справа — бело, попробовать бы, какой там под снегом ледок. Но еще не вышли из кустарника, шарахнула пуле-

метная очередь, за ней затыркали автоматы. Значит, Давыдо-Никольский и высоты на том берегу заняты немцами. Выбрались за лесок, закурили.

— А ты чего ждал? — внезапно спрашивает Домикеев.

— Ничего я не ждал, — теряюсь я. — Рекогносцировка...

— А я так и думал — будут они тут держать оборону. Солидный водный рубеж — где ж им еще упираться? Будь я немецким командиром, так и поступил бы.

— За себя пусть немцы думают, а что мы скажем командиру дивизии?

— Это задача... Пойдем с местными жителями беседовать, может, брод есть?

Вернулись в хутор, нашли двух дедов. С удовольствием сосут наши папиросы, вспоминают:

— Молодыми были, на берег бегали глядеть, как девки да бабы с той стороны на эту по ягоды ходили, подолы задирали... Вот смеху, вот смеху!

— Значит, мелко тут, брод есть?

— У-у, какое мелко, хоть в две сажени ростом будь — сомкнет над вихрами.

— Да как же девки и бабы ходили?

— То когда было... А лет, что ли, с пять тому заглубление делали, машинами все избуровили... Теперь-то не-е, никак не пройтись... Слух был, под Макаровым Яром мост ладили...

— И сладили?

— Кто ж про то знает, от нас не рукой подать...

Ясно — с ходу Северного Донца технике не перескочить. Во всяком случае тут. Не на день будет волынки. Напрасно на броневиличке застывал...

* * *

Командир дивизии выслушивает сообщение Домикеева о переправе спокойно, поглядывая серо-голубыми глазами на заиндевелое окно. Говорит:

— Что нету, — сам уже наслышан. А должны иметь. Пехота что, по льду прошла, а если с танками и артиллерией запоздаем — большую трепку наживем....

Еду на правый фланг — там наши стрелковые части уже километров на десять за Северным Донцом. Собственно, моста нигде нет, но чуть правее одного хуто-

ра находятся остатки — для пешехождения здесь уже хороший лед, в нем видны верхушки свай. Все остальное — настил, понтоны — немцы сняли еще раньше. Восстановить бы!

Ночью перебрасываем батальон, с утра приступаем к работе. Оказывается, что одного ряда свай — четырех и на самой середине — не хватает. Дела идут неважнецки, медленно — тут бы инжполк, у него машины и необходимый «приклад», а у нас даже топоры и пилы наперечет. Забивать со льда, конечно, удобно, но чем?

Весь день за высотами громыхает, там, судя по всему, жарко. Над нами проносятся немецкие самолеты, — куда-то в тыл, нас не трогают, — барражирует, выглядывает, вынюхивает что-то «рама», осточертевший с Дона разведчик. Перед вечером трассирующие пули начинают порхать над ближними высотами. Догадываемся, что передовая приблизилась, но нам не до того, чтобы ломать голову над «посторонними проблемами», наше дело — мост. Скорее бы, скорее!..

Ввалился около берега в промоину, валенки хлюпают. Захожу в крайний дом хутора переобуться, но только стаскиваю мокрую обувь, входит встревоженный ординарец Кочубей:

— Товарищ капитан, выйдите на минутку...

Выхожу. Дом стоит на самой окраине хутора. Неподалеку логом, по которому проходит дорога, вскачь несутся обозники, выскакивают на лед в районе бывшего моста. Еще дальше, поодиночке и небольшими группами, скатываются пехотинцы. И пока размышляю, что бы это могло означать для нас и какие меры принимать, с высоток в балку сползают два немецких танка. Надо уходить за реку. Но на другом конце хутора, растянувшегося в один порядок до излучины выше, штаб, кузница, прочее наше хозяйство. Что если прозевают, не оценят ситуации? Посылаю Кочубея, а вслед за ним и еще одного подвернувшегося под руку солдата — для дублирования, чтобы наверняка — передать всем приказ срочно эвакуироваться через реку.

Тем временем подошел еще немецкий танк с десантом на броне и еще... Прямо в хутор не идут, видимо, побаиваются — останавливаются, пехота, ссыпавшись с брони, трещит автоматами, танки ведут огонь вдоль ло-

га, пулеметная очередь облизывает снежный бугорок метрах в десяти от меня. Все, пора...

Рядом высокий обрыв — ухаю вниз, качусь кувырком по снежным бугоркам и глине. Вскакиваю. Перекрасился — валенки и шинель рыжие от мерзлой глинистой пыли. До реки еще метров сорок или больше — ямы, промоины, чертоломня какая-то. Но она и спасает — как раз сюда с небольшими, секунд в десять — пятнадцать, паузами бьют немецкие минометы, при шурханье мин залегаю в рытвинах, и это оберегает от осколков. Вискакиваю на лед, на другой стороне невысокий обрывистый бережок и дубовый лес. Все бы неплохо, но на середине реки длинная полынья. Приходится огибать вверх по течению. Минометы смолкли, но с обрыва у хутора короткими очередями фыркает автомат, пули на льду вывязывают замысловатые петли, брызгают крошками льда...

Пронесло. Вискакиваю на берег, сразу за его гребнем глубокая ложбинка, прикрытая дубами. Тут меня поджидает командир роты и адъютант старший Богданов — подскочили сюда от недостроенного моста, видели мои кульбиты и кросс по льду... Ну и что делать дальше?

Посылаю узнать, что на другом конце хутора. Оказывается, в основном порядок, эвакуировались, и сами догадались о происходящем, и гитлерюки медлили — продвигались по хутору со скоростью улиток, палили в белый свет из автоматов. То ли вымотались до ручки за день, то ли боялись.

Река под хутор заходит большой излучиной, это у нас теперь на левом фланге. Оставляем у берега небольшой дозор, собираемся на поляне метрах в полтора от хутора. Голодные — мечтали поесть как следует к вечеру; перестылые — днем на работе-то, вспотев, снимали полушубки, то промерзали. Появляется дивинженер Домикеев:

— Ехал к вам мост посмотреть, а у вас вон оно как...

— А что случилось?

— До конца не знаю... Вроде немцы вклинились в стык двух полков... Эх, танки бы нам на той стороне!

— И как быть дальше?

Домикеев с минуту размышляет, курит. Потом приказывает:

— Оставаться тут, где стоите, держать оборону...

— Не будут немцы атаковать через ненадежную реку да еще в лесу. А будут — искрошат нас, и все.

— Выполнять приказание! А я в штаб...

Выполнять так выполнять. Попробовали окапываться — земля мерзлая, лопаты не берут. Надеялись поест, но, как выясняется, эвакуация на другом конце хутора прошла не стопроцентно — в промоине недалеко от нашего берега засела кухня. Ползал повар Побалка, чтобы зацепить тросом и вытащить, — не вышло, только автоматчики посекали ему ватные штаны. Похоже, и кухню поковыряли, пар валит...

Проходит час, полтора. Мороз набирает силу. Говорю комиссару:

— Не понимаю — чего мы тут сидим? Если немцы вздумают ночью наступать, нас зажмут, заклешат. А если на нас не будет аппетита, пройдут правее в тыл, там ведь никого из наших...

— Ну и что предлагаешь?

— Меньше чем в полукилометре станица — там и базироваться. Здесь на берегу — посты, под станицей — посты, при любом движении немцев у нас выгодный маневр...

— Ты командир, ты и решай...

Решаю — организовать охранение и — в станицу. Сейчас мы просто уже небоеспособны, на пробежку в тридцать метров не хватает сил. Отогревшись и хоть немного поспав, при любых условиях удержимся, тем более, что танков немцам не переправить. Выгода еще и та, что при движении немцев охранение просигнализирует, а перед станицей четверть километра голой заснеженной степи. К нашей выгоде! По открытому не пройдут, выкосим...

Все как будто нормально. Но часа в три ночи меня находит посыльный — вызывает командир дивизии. Еду в легких санях. Командира дивизии нахожу в хуторе километрах в семи, тоже у берега Северного Донца. Штаб где-то в другом месте. Сидит в неказистой хате за шатким столом, прикрытым разостланной картой. Мехжилет расстегнут, щеки красны, обветрились на морозе, под глазами, цвета и выражения которых при скудном свете лампы не разобрать, темные натеки — измотан бессонницей. Вопросы сухие и короткие, как выстрелы:

— Перебазировался в станицу?

— Так точно.

— Приказ дивинженера не выполнил? Что это значит в боевой обстановке — понимаешь?

— Понимаю. Но это не приказ, а приказание. Сгоряча.

— Доставай карту, объясняй...

Объясняю. Слушает внимательно, не перебивая. Свертывает и возвращает мне мою карту-двухверстку с нанесенной мной обстановкой, подводит итог:

— Решение, пожалуй, разумно. Но невыполнение приказания дивинженера — проступок. Если бы при выполнении его приказа случилась беда — отвечал бы он, теперь, если случится что, отвечать будешь ты. Трибуналу. Все понятно?

— Так точно.

— Учти — с моей стороны это поблажка. За прежние заслуги, начиная с форсирования Дона. По дороге ко мне видел что-либо?

— Километрах в трех от нашей станицы встретил четыре или пять танков...

— Ага... Послали по докладу Домикеева вам в поддержку, а вы на месте не дождались... Ладно, езжай...

Подсчитали потщательнее потери при эвакуации, а точнее, пожалуй, бегстве из хутора. Людских — нет. Материальные — кухня, которую так и не вернули, — потом заменили трофейной, — около шестидесяти вещмешков — люди находились на стройке моста, а вещмешки в хуторе. У комиссара — одеяло, мехжилет, у меня — одеяло, запасные валенки, полотенце, шкодовский пулемет. Забегая вперед, можно уточнить — дня через четыре хутор при угрозе удара с тыла захватили снова, почти все потерянное вернулось к нам, между прочим, даже валенки и мехжилет. Их надела на себя молодая украинка Наташа, мехжилет под платье. О валенках твердила — «мои», хотя, по ее рассказам, один из немецких офицеров весьма поглядывал на них, все бормотал — «кальт». Не вернули кухню — так была посечена из пулемета, что годилась лишь в металлолом. Из стога соломы извлекли немецкого солдата — по существу мальчишка, чумаз, деморализован, готов рассказывать даже то, о чем ничего не знает. Заверял: «Я русских не пук-пук». Дня два, все веселее что-то насвистывая, пилил и колол дрова на кухне, потом, когда сформировалась группа пленных, отправили в тыл, о

чем он, судя по всему, явно сожалел, хотя у нас был отнюдь не филиал рая — бомбили, доставали тяжелой артиллерией...

Да, с этими чертовыми мостами нам явно не везло. Как началось еще с учений на Урупе, так и продолжалось! Теперь вот думаю — и не могло везти. Для этого нужны специальные, хорошо оснащенные подразделения или части, а не волынка с обыкновенными топорами и пилами.

Мосты — сооружения сложные, тяп-ляп не проходит.

* * *

Стало известно — от пленных офицеров и солдат, — что рассекающий удар, под острие которого попали и мы, наносила 179-я немецкая пехотная дивизия, только что переброшенная с Центрального, или, как называли сами немцы, «Московского», фронта. Гитлеровское командование ставило общую задачу — организовать прочную оборону по Северному Донцу, чтобы удержать Донбасс. Не получалось.

Пока шла канитель у нас вокруг да около моста, за Северным Донцом продолжали в полуокружении, а то и в окружении сражаться наши части. Опять складывались почти легендарные рассказы о батальоне А. Попова: на него наваливались с разных сторон, утюжили танками, казалось, что уже раскочивали, рассеивали, а он маневрировал, используя балки и рвы, и снова сражался. И когда полк Мизиева вернулся после отступления на свои позиции, батальон А. Попова, о котором иногда судили так, что он уже погиб, занял в нем свое место.

Много времени спустя, на подходе к Никопольскому плацдарму, у Днепра, когда А. Попов был уже командиром полка, а я спецкором армейской газеты «Боевой товарищ», мы в короткой встрече вспомнили этот эпизод. Он сказал:

— Тут выручили три фактора. Во-первых, солдаты мои научились воевать по-настоящему — упорно, расчетливо, с выдумкой и со злостью. Высшую школу кончили! Во-вторых, мы крепко держали управление боем при любых обстоятельствах. Даже когда нас «рассекали», все знали, куда стремиться для сбора, — заранее намечали. В-третьих, фашисты были уже не те и не те

для них условия, поэтому часто колебались, действовали как-то неуверенно, половинчато. Нас еще и население пригревало, снабжало разными сведениями, а им — шиш с маслом!

— А теперь, когда полком командуешь?

— Тут сложнее... Хорошо — каркас ветеранов остался, он держит, но и новых много... Честно — скучаю я по батальону, по тем временам. Лиха было хвачено под горло, да за то и развернулись!..

Ну а с мостом что же?

Мы собрались достраивать, но поступил приказ — нужды в нем уже нет, оставить. И перебазироваться...

За Северным Донцом — Украина, Донбасс, Ворошиловград. Туда наш путь.

Стрелковые части форсировали реку по льду, хотя он не везде надежен, — с предварительным «простукиванием», ползком с хворостяной подстилкой. Кто как исхитрился. У немцев сплошной обороны нет. Как при короткой одежке — на голову натянул, а спина гола. И они еще в «сталинградском шоке», что понимали все командиры и солдаты. А у нас подъем, окрыление духа, при котором один пятерых стоит.

Но для крупномасштабных операций нужна тяжелая техника. А она ждала мостов. Их срочно налаживали инженерные полки и саперные батальоны. Мы, после того как немцев из хутора выбили, свой мост не достраивали — сказали, что уже не нужен, вступают в строй другие, а наше место на переднем крае, в помощь пехоте.

И это было понятно — немцы, судя по всему, с потерями уже не считались, но Украины и Донбасса отдавать не хотели. Упорно обороняли каждую позицию, начинали наносить контрудары — чаще всего безуспешно, разрозненно, но все же... «Совершенно невозможно отдать противнику Донбасс даже временно. Если бы мы потеряли этот район, то нам нельзя было бы обеспечить сырьем свою военную промышленность». Это сказал Гитлер на специальном совещании, а я узнал, конечно, много позже, из книги генерала армии Д. Д. Лелюшенко «Москва — Сталинград — Берлин — Прага».

Мы тогда, разумеется, о соображениях Гитлера и его планах не знали ничего, но, уже испытанные вой-

ной, что называется, калачи тертые, в метелях и морозах, в реве самолетов и лязге танков тоже размышляли и о многом догадывались. Не лишним будет заметить, это все мы были уже не те, какими пришли на Дон и вступили в первые бои,—почувствовали свою силу, закалились, обрели умение. У нас прекрасное ощущение — над фашизмом спускается ночь поражения, для нас занялся рассвет победы.

А батальону приходилось круто, он становился, как выразился дивинженер, «пластырем на прорехи»: если где немцам намечался или наносился контрудар, нас туда и подбрасывали — чтобы укрепить боевые порядки пехоты и, главным образом, пока дойдет до дуэлей с артиллерией, закрыть минами дорогу танкам. Случалось — уже прямо под их обстрелом, что, называется, под самым носом. Это — самая горячая, самая нервная работа. Но — справлялись. И мины — трофейные, немецкие — совсем неплохо действовали против немецких же танков. Тебе же — твоим...

— Та воны як бездомные собаки,—говаривал солдат Афанасенко, батальонный философ.— В какие руки попали, тем и служат. Без соображения...

Да своих мин у нас попросту не было. Пути подвоза растянулись невероятно,—пройдены в снегах сотни километров,—поджимало со многим, в том числе с боеприпасами. И боевые порядки поредели, и люди устали. Но — воезали, наступали!

Никогда не мог и не могу найти слов для краткого выражения того, что происходило. Подвиг? Да. Массовый героизм? Да. Но и что-то сверх того — невиданное, небывалое.

А немцы наращивали силы. В частности, подходила с Кавказа 1-я немецкая танковая армия, напозали танковые дивизии «Мертвая голова», «Рейх», ощеривалась новая пехотная дивизия с батальонами танков «тигр». Хорошо еще, что не было все собрано в единый кулак для концентрированного удара с дальним прицелом — не до того, вступали по частям, затыкая «дырки». Генерал Запорожченко, командир дивизии, которому вскоре предстояло стать командиром корпуса, при короткой встрече у хутора Пархоменко спросил у меня:

— Как поживаешь со своими «чижиками»? Своевольничать кончили?

— У дивинженера претензий нет... Только вот крутимся много, а все возле Донца.

— Вперед хочется? Гром победы раздавайся?

— Через излучину хорошо шли...

— Излучину уже прошли. Не заметил разве?.. Тут потяжелее будет.

Помолчал, добавил:

— Мы нервничаем — сил маловато для надежного удара. И немцы нервничают, растопыренными пальцами вроде суют... На том и верх берем, что ходов наших не предугадывают... Ладно, действуй...

Это было во второй половине дня, после того, как я осмотрел выше по правому берегу немецкие артиллерийские позиции на крутояре. Удобное место они выбрали, далеко видать. Но были накрыты нашей тяжелой артиллерией — теперь от этой позиции остались исковерканные пушки и неприбранные мертвецы в снегу. Впервые в такой конкретности я видел работу нашего бога войны. Мурашки по спине — не дай и не приведи попадать такому под руку!..

А когда загустели сумерки и пошел снег, — при каком-то сумасшедшем, с завихрениями и подвываниями ветре, — получил приказ осмотреть возможный рубеж обороны примерно в километре южнее, на выходе из низины, определить выгодные высоты и танкоопасные направления. Приказ, подумалось, отдавали утром, но действовать все равно надо немедленно. Вышли с ординарцем Кочубеем и адъютантом Богдановым. Предположили, что немцев здесь нет, — их и действительно не было. Была ночь, снежные вихри, поземка и какое-то странное белесое марево — вероятно, решили мы, тучи неплотные, пробивает лунный свет. Метров на пятьдесят, наверное, просматривается степь, но все вроде течет, — где тут высоты, где танкоопасные проходы, кто ж разберет...

Бродили часа два, замерзли руки и ноги, застыли сами до того, что языком трудно ворочать, но представить себе оборонительную позицию в целом так и не смогли.

— Пошли-ка мы, товарищ капитан, в хутор, — предложил адъютант старший. — Малость поспим, а к расвету тут будем. Иначе и себя, и других подведем.

— Пожалуй.

— Конечно! Ну, что мы сейчас на карту нанесем, что докладывать будем? Плывет все как во сне...

Плывет — это одно. Другое — щеки после острой боли потеряли чувствительность.

Но не суждено было нам ни поспать, ни вернуться к утру — едва ввалились в теплую хату, прибыл связной из штаба с приказом немедленно двигаться в направлении Ворошиловграда. Даже отогреться толком не успели, только выпили по кружке горячего чая, который комиссар Шульжик предусмотрительно держал в печке.

При нас была одна рота. Решили двигаться с ней неторной, местами перевеянной дорожкой по-над Донцом, чтобы не заблудиться в этой степной дьявольщине с текучими высотками и снежной круговертью. Прошли через позиции разгромленной немецкой артиллерии, которую осматривали днем, — трупов уже почти не видно, замело, косым и черным, каким-то марсианским куском забора торчат оружейные дула. Трудно было бы без содрогания и озноба смотреть на такую картину, напиши ее художник.

Но тут это было обыденностью войны.

Тяжелый был переход. Лишь когда начало рассветать, повернули от Донца влево и пришли в село. Снег в карманах, снег за воротником — набило ветром. Щеки красны и побаливают — натерло, посеколо снегом. Разместились наскоро и — спать, спать. На деревянных диванах, на лавках, на полу.

А вечером приказ — прибыть на командный пункт командира дивизии под Ворошиловградским аэродромом. Маршрут движения — край посадки.

Каким он, этот «край посадки», оказался на деле, уже рассказано выше, где речь шла о сверке карты на местности. Не сверили, не расспросили и — просто курьез, что не пропали попусту! — прошли за немецкой передовой, принудили к бегству группу немцев в маскхалатах и чуть не стали жертвой атаки собственных пехотинцев...

Мне надлежало явиться на командный пункт комдива. Тут стоит объяснить — командир отдельного саперного батальона числится в правах командира полка и приказы получает от комдива или по его прямому поручению. В этом, наверное, есть деловой резон — на маневр саперами, частью компактной и, как правило, с хорошей выучкой, у комдива необходимость возникает

часто. Они же строят ему и передовые командные пункты.

Однако здесь, на степном склоне перед аэродромом Ворошиловграда, с большим логом по левому флангу, никакого командного пункта попросту не было — ни строения, ни блиндажа. Так что явился я прямо в от-вершек оврага, где находился командир. Вероятно, ему уже доложили о нашей одиссее, поэтому он не расспрашивал, а итожил:

— Заплутался в гарбузыне, как поют украинцы? Немцев шуганул — дело, сильно они мешали огнем по флангу. А что на свои штыки чуть не сел — анекдот.

Я рассказал ему, что произошло с командиром полка Андриющенко. Он нахмурился:

— Ориентироваться получше надо... Куда сопровождающий офицер смотрел?

— Он не то убит, не то ранен.

— Час от часу не легче...

Помолчал. Заключил:

— Разберемся. Твоя задача: будем брать город — одним из первых на аэродром... Мины бурьяками называете? Есть сведения — там этих бурьяков под завязку. Очистить. А сейчас занимай участок на левом фланге, который завоевал случайно... Держать!

* * *

Если нанести эту позицию на карту, покажется солидной, поскольку одна из ключевых, крайних на фланге. А что на деле? Да, собственно, ничего. Лог, поднимающийся к аэродрому и слева от него сходящий на нет. Позади, за логом, низкорослый сад со стожком сена, где утром произошла уже известная катавасия. Впереди метров на двести пятьдесят снежное поле, за которым серые строения — службы аэродрома, начало города. Окопов нет и не вырыть — земля мерзлая. Саперные лопатки короткие и легкие. Что ими наскребешь? Но край ложка рвано обрывист — тут, используя эту рваную обрывистость, и начинаем обживать. Не без того, чтобы кто-нибудь не кувыркнулся на дно лога, — то предательски осыплется мерзлая земля, то скользнет нога по наледи. И смех, и залпы ругани.

Вооружение слабовато — один трофейный шкодовский пулемет, около десятка автоматов, винтовки, гра-

наты. Телефона нет, в подмогу минометчиков и артиллерию не вызвать. Мин нет, и не знаем, как подвезти, поскольку еще неизвестно — «свернули» немцы свою передовую, позади которой мы прошли ночью, или сидят еще там? Если да — они у нас на фланге и даже отчасти в тылу. По обстановке судя, должны бы убраться из опасения окружения, но что-то никакого движения там не видать...

В желудках от голода воют волки и вьюги. Вчера ужинали наспех, завтрака не было, обеда не предвидится. Завалился где в сумке или в кармане сухарь — грызи, нет — терпи. Воды тоже нет, взамен — чистый, выпавший ночью снежок. Впрочем, пить охоты нет, в катавасии ночного марша от спин пар валил, теперь подмерзаем.

«Работы» тоже нет, ни одного выстрела не делаем. Какой смысл? Немцы из серых аэродромных зданий порывают пулеметными очередями, но пули посвистывают поверху, пустое занятие. Иногда бьют пушки, — видимо, прямой наводкой, с настильными траекториями. Снаряды, поухивая над головами, взбивают столбы снежной пыли и корчуют деревья сада за спинами, по другую сторону лога. Иногда, если берется прицел пониже, рикошетируют впереди нас, над головами проносятся с каким-то хрюканьем и повизгиванием, но рвутся там же. Концерты, конечно, беспокойные, но без всякого для нас урона. В контратаку же немцы не идут, тут бы, конечно, пришлось «погреться» и нам. Но — не идут. Сколько ни смотрим — ни одной там фигуры не мелькнет, ни одного силуэта не обозначится. Временами создается странное ощущение, что стреляют сами здания или оружие...

Подошли — днем, через свои боевые порядки — комиссар (мы, хотя звание давно отменено, все так его и называем) Шульжик и адъютант старший Богданов. Обсуждают с точки зрения «стратегии» поведение противника.

— На психику давит.

— Боеприпасы изводят, чтоб нам не достались...

— Вы бы, — говорю, — вместо того, чтобы за Гитлера думать, кухню подвезли бы.

— Собирались, — говорит Богданов. — Не посоветовали, сказали — разбомбят... Вон их сколько шныряет!

Немецкая авиация и в самом деле активна — фев-

ральский день светел, с небольшими и негустыми облачками, нашей авиации нет, зениток — раз, два и обчелся. Да и летают немецкие самолеты совсем низко, почти на бреющем, зенитчики говорят, что это им неудобно. Им — неудобно, а у нас есть возможность очень хорошо рассмотреть стервятников — желтоосиное брюхо, посверки алюминия, иногда радужный ореол пропеллера. Видно, как раскрываются люки и отрываются небольшие бомбы, — если впереди тебя по курсу, вжми-майся во что можно вжаться, в крайнем случае пластайся на снег, если над тобой, продолжай спокойно дымить махоркой, пронесет метров на сто или двести...

Перед сумерками — небо заволокло облаками, очистило от авиации — прибыла кухня. Вот было ликование, даже шапки вверх подкидывались — «мама-кормилица»! Не успел проглотить кашу, вызов к командиру дивизии. У посыльных не спрашивают — для чего, сержант ложком и степью просто довел меня до большой скирды соломы. Тут, на соломе, привалившись спиной к скирде, и сидел генерал. Я хотел доложить — не дал, указал место рядом, спросил:

— Ел сегодня?

— Только что. Кухня прибыла.

— Завидую. Сала не хочешь?

— Спасибо — нет.

— Тогда я поем, а ты рассказывай что-нибудь...

Что рассказывал я — не помню уже, а он ел тонкие ломтики сала с мерзлым черным хлебом, выпил кружку чая из термоса. Потом, укрывшись соломой до пояса, улыбнулся:

— Попил, поел, живот погрел, теперь самое время побалакать. Как думаешь, зачем позвал?

— Не знаю.

— У меня сегодня дел нет, а ты в армейскую газету стихи писал, на литературу, значит, все тянет... И вот любопытно стало — как мысли у таких текут? Мерз сегодня, топтался на фланге — что думал?

— Думал — как бы кухню поскорее подтянуть... Голодали.

— Понятно. А о немцах? Ворошиловград-то надо брать.

— О немцах? Не контратакуют. Много бесцельной стрельбы. Одно из двух — или собираются нас измотать обороной, имея вволю боеприпасов, или не уверены в

себе, за свою спину поглядывают. Мы вроде тоже примерзаем, атаки безуспешные...

Генерал засмеялся:

— Ну, стратег!.. Секреты хранить умеешь? Должен. Так вот по секрету — мы еще и не атакуем, только делаем вид. Ясно? Надо, чтобы их с левого фланга припекло, тут и мы пойдем... Впрочем, литературного разговора у нас не получается, не то атрофировалась твоя фантазия, не то застудилась... Ладно, давай спать, завтра Ворошиловград возьмем... Можешь ночевать тут, в союеме...

Даже в сельском детстве не приходилось мне зимой ночевать в скирдах или стогах. Оказалось, совсем неплохо, быстро угрелся, выспался в одну ночь за две. Утром пришел в роту. Тут тоже сообразили — один взвод оставляли на позиции в качестве охранения, другие уходили спать в стожок. Поскольку до стожка рукой подать, все удобно и надежно...

Где-то около часа дня слева стал доноситься все нараставший и как будто приближавшийся гул. Чувствовалось — работает «сосед слева». Пошли в атаку наши полки — дружно, быстро, хорошо пошли. И своего добились. Сошлюсь на дневниковую запись: «14.2. Вступили в Ворошиловград — в 14.20. Население шпалерами стояло вдоль улиц от аэродрома до центра. Город в нескольких местах горит, ряд зданий подорваны».

Мы, саперы, ворвались на аэродром на плечах бежавших немцев. Молча, без «Ура!». Помня наказ, начали проверку на минирование. Меня отозвали в штаб, в центр города. Вскоре узнал — в одном из зданий подорвались на минах младший лейтенант Бредихин и пятеро солдат. Уцелевшие потом рассказали — видели из конца коридора, как Бредихин рванул очередную дверь, — она оказалась заминированной, грохнул взрыв...

Опять оправдываться — не доучились? Нет — спешка и в результате ошибка. Трагическая. Сколько ни вспоминаю, огорчаясь, все приходит на ум дельный совет: «Если разозлился, то, прежде чем говорить и действовать, досчитай до десяти»... Очень много уже могил, в которых лежат разозлившиеся и не досчитавшие...

Мин оказалось не так много, но насованы коварно. Очистили.

Ночевать устроились в квартире, которую комиссар Шульжик назвал «салон», — видно, жил какой-то важный немецкий чин, натаскал мягких диванов и кресел, похоже, даже из театрального реквизита. Единственным хозяином в квартире был холод — такой же, как на улице. Наверное, уже дня два тут никого не было, а окно разбито. Но меня тут же вызвали в штаб. Когда я пришел, допрашивали двух молодых итальянцев. Тощие, «замусоленные». Но — веселы, плену, похоже, рады, как спасению, выкладывают все, что знают. А знают мало... Что с них взять? Отвели к другим пленным, которых много.

Начальник штаба передал приказ: проверить все мосты в городе — взорваны, не взорваны? Завтра по ним двинутся полки...

Поручил командиру взвода Казакову. Вернулся в наш «салон»-ледник, спросил у комиссара:

— Что печки не топишь? Замерзать будем?

— Во-первых, печка разворочена, кто-то, уходя, гранату сунул. Наверное, маленькую, итальянскую. Во-вторых, ни дров, ни угля... Ничего, до утра перебьемся...

Устроился на каком-то диване, натянул поверх шинели разное барахло. Только стал засыпать, явился Казаков:

— Все мосты целы...

Встал, пошел в штаб, доложил, что порядок. Вернулся, лег, но вместо сна какие-то ползучие видения, серые, тревожные. А к ним еще холод. Часа за два до рассвета встал, приказал Куликову — тому, что на Дону сам переправил из-под носа у немцев трактор НАТИ, — заводить трофейный мотоцикл, на котором он теперь ездил, обслуживая наш штаб. Мотоцикл удобный, с коляской.

— Будем объезжать мосты...

Взорван... Взорван.... Взорван... Если бы я уже в то время не брил голову, шапка на волосах поднялась бы дыбом: я ведь доложил, что порядок, что мосты целы. И что будет, когда двинутся полки да еще налетит авиация? Решил, пока есть время, разведать дорогу на выходе из города, в степи... Широченная, расчищенная, спрессованная машинами, она пустынно уходила к пустынному горизонту. Проехал по ней километров около десяти — никого. И — назад. Всходило солнце при морозе, снега искрились и сверкали, день обещался ясным, а

на душе у меня цапались черные кошки. Надо было ехать в штаб, докладывать суть дела — война ошибок и пустых заверений не прощает. Начальник штаба полковник Челноков, тоже, очевидно, давно не высыпавшийся, оттого хмурый, с припухшими веками, выслушал сообщение о мостах молча, пожал плечами:

— Мосты нам и не нужны, на левый берег не пойдем. С чего бы? Нам в Донбасс поворачивать.

— Так там отличная дорога и немцев нет километров на десять. Сам только что оттуда...

— Отметим на карте...

Таковы мои, на маленьком батальонном уровне, впечатления от Ворошиловградской операции. Несверенная на местности карта, что могло нам стоить жизни, метели, не из крепких, но досаждающие морозы, гибель людей на аэродроме, итальянцы, радующие плену, квартира-холодильник, мосты, дорога в Донбасс.

Частности? Конечно. Но в составе целого, которое означало наше наступление в развитие сталинградской победы.

* * *

Вошли в Донбасс, под Ирмино. Напряжение в войсках возросло, гитлеровцы подтянули резервы, настойчиво и остро контратакуют.

Около восьми часов утра. Погода мягкая, отволглая, с напоминаниями о близкой весне, бысролетящие перемежающиеся облака — то светлее, то темнее. Недолгими залпами густой снегопад, словно кто разбрасывает манную кашу. Улочка пестра, с черными от угольной крошки лужами. Небольшая комната в горняцком поселке, в пути промок — пытаюсь подсушиться. Жарко, в железной печке свирепо тлеет мелкий уголь, непривычный запах беспокоит — не угарно ли? Но просушиться не удастся — приходит посыльный с приказом прибыть на передовой командный путь командира дивизии. Вызываю Куликова:

— Заводи коня, поехали...

Дорога? Скорее пародийный намек на дорогу — снежное месиво, немыслимые выкрутасы, иногда забираем прямо по целине, побуксовываем. Назойливый зуд немецкой авиации, ходят низко, одиночками и пара-

ми, рыщут, ищут. Какой-то балбес вывалил две бомбы на нас, разорвались в стороне.

— Жми! — кричу Куликову. — Быстрее, быстрее!

— Так, товарищ капитан, взлетит же...

Метрах в ста пятидесяти к дороге справа подходит обросшая лесом балка, вдоль нее тоже к дороге идут три немецких самолета. Куликов останавливается:

— Минутку переждем...

Самолеты вываливают бомбы в отвершек балки у дороги. Грохот, дым. Мы пытаемся ехать, выскакиваем к месту бомбежки, нас останавливает взмахом руки младший лейтенант и два солдата:

— Документы!

Чертовщина какая-то: близко передовая, совсем рядом должен быть командный пункт и на тебе — проверка. Младший лейтенант возвращает документы.

— Бомбежку видели?

— Видели.

— Убит командир полка Криворотенко и сопровождавший его Антонец... В этом лесочке.

— Где командир дивизии?

— Почти рядом, левее по гребню высоты. Драндулет оставить тут...

Передовой командный пункт — просто узкая небольшая траншея. Вваливаюсь, пытаюсь докладывать о прибытии, комдив машет рукой, что может иметь одно значение — некогда. Меня берет под руку полковник, начальник дивизионной артиллерии, советует:

— Гляди...

Достаю бинокль, смотрю — посветлело, снежок реденький, за скатом, на котором траншея, широкая долина с чем-то вроде городка и поселка у края. В серо-голубоватой дымке видно, как, лавируя, петляя, движутся группы танков, а из поселка выползают новые. Справа несколько танков почти у подножия высоты, там грохот и автоматно-винтовочная трескотня. Зуммерит телефон, трубку берет какой-то майор, выслушивает, докладывает комдиву:

— Атакуют разведроту, убит командир. Пока держатся, но положение тяжелое...

— Это там, — показывает вправо и вниз начарт.

— А почему разведрота в бою?

— Кольчужка коротка... Всех в дело!

В это время позади нас, почти сразу за траншеей,

падают со страшным воем и хрюканьем снаряды. Падают, вспахивают снег и землю, снова рикошетят, но не взрываются. Начарт приседает на коленки. Я удивлен и, поскольку у нас давние хорошие отношения, говорю полушутливо:

— Чудновато — артиллерист боится артиллерии.

Ответ злой:

— Потому и боюсь, что понимаю... А ты знаешь — что это?

— Снаряды, которые почему-то не рвутся...

— Сам ты... Это стальные бронебойные болванки, попадет — переполовинит и по земле размажет...

— А чего сюда бьют? Наших танков нет...

— Боюсь — нас засекли... А бьют танки или самоходки тем, что под руками оказалось... Иди у них спроси!..

Комдив отдал какое-то приказание о поддержке разведроты, я не расслышал, потом — мне:

— Срочно вызывай батальон, заминировать все узо-сти и дороги... Запасов мин не оставлять, все, что есть, — сюда... В пять ноль-ноль тебе быть в Ворошиловграде, получишь приказ...

После узнал — не удержали мы тех высот, отошли. Правда, недалеко, Ворошиловград у нас. А мы в сумерках минировали, минировали. Мокрые до шапок включительно. Под артобстрелами...

В пять утра меня в городе вызвал дивинженер Домикеев. Разговор продолжался около часа. Из него узнал:

Первое — командир дивизии становится командиром 18-го стрелкового корпуса, а он, Домикеев, корпусным инженером.

Второе — я должен заступить на его место. Возражения есть, нет? Не имеет значения.

Третье — положение на фронте осложнилось. Наши части, которые дошли почти до Днепра, отступают на Лисичанск и севернее. Обстановка у них тяжелая, сложная. Моя задача — сразу после разговора как можно быстрее попасть под Лисичанск, провести рекогносцировку с целью организации обороны. Батальон, а за ним дивизия подойдут позже. С собой взять кого-либо из своего комсостава.

Взял лейтенанта Казакова Ивана Михайловича, которого уже прочили в полковые инженеры, — быстр,

энергичен, опытен. Промахи бывают, но редко — не чаще, чем у всех нас. Ехать на мотоцикле с коляской. Шофер Куликов сказал: «С хрипом, но дотянет». Как ехать — по правому или по левому берегу? По правому дорога лучше, но могут прорываться немцы. Тогда задачи не выполним. Решили — по левому. Поехали.

Дорога или бездорожье? Ни то, ни другое, середка на половине. Иногда намек на бывшую полевку, иногда санный след. Снег глубиной сантиметров двенадцать, иногда по колени, под ним часто вода. Не едем, а тянемся, трещим мотором, вихляем. Где-то между Лопаскино—Муратово навстречу нам на небольшой высоте немецкий самолет. Прошел, развернулся, снова взял встречный курс, сбросил бомбы. Куликов — круто вправо, «сманеврировал» — мотоцикл перевернулся, мы вывалились в низинную лужу, бомбы разорвались чуть левее и позади. Нас «не достало», но выкупались в ледяной воде. Особо не повезло мне — угодил в ямку. Обсушиваться и греться не на чем и некогда — поехали.

В сумерках поворота на Лисичанск не заметили, проехали чуть не до Пролетарска. Разобрались, вернулись, а времени потеряно зря немало. Стемнело. Ни о какой рекогносцировке не может быть и речи — что увидишь и нанесешь на карту? Устроились на постой в домике на левой окраине города — собственно тут уже скорее сельская местность и почему-то особенно много снега. Наверное, набивало из степи. В доме тепло, но попросили хозяйку еще раз затопить печь, чтобы надежно обсушиться. Сели ужинать. Казаков налил мне из фляжки стакан шнапса:

— Пейте, а то простудитесь...

Видно, было уже поздно, меня бил озноб, до дребзга зубов на ложке с консервами. Только доужинали, пришел Куликов, который остановился в домике метров за сто, — не прошел мотоцикл по глубокому снегу. Сообщил:

— Товарищ капитан, вас вызывает комиссар дивизии. Меня нашел его посыльный, он проведет...

Оделся в потеплевшее, но мокрое обмундирование, пошел. Глянул на часы — двенадцатый ночи. Комиссар дивизии Ф. Сухенко, — я так и не понял, почему он тут, — в полной форме, даже в шинели. Пригласил к столу, не предложив раздеться, спросил:

— Саперы, хотя бы одно отделение, есть?

— Нету. Днем только вышли из Ворошиловграда.

— Надо ликвидировать мост на Донце. Взорвать хотя бы один пролет.

— Взрывчатки и детонаторов нет.

— Может, подпилить? Собрать какое ни есть местное население?

— Невозможно. Когда переезжали, смотрел — по льду на Донце вода, верхушки свай и прогоны затоплены... Сам лед на реке слабый, люди кое-как пройдут, машины нет...

— Плохо дело с мостом получается... Утром здесь будут немцы. Советую немедленно убираться на ту сторону...

Вернулся в теплынь, рассказал о ситуации Казакову. Подумали, решили — дороги развезло, немцы ночью город брать не будут. К тому же температура у меня тридцать восемь с половиной. Развесили обмундирование на просушку, меня устроили в кровать и завалили всем, чем можно, чтоб «пропотел до пяток». Но, как ни странно, нарастал и бил озноб. Стало рассветать, оделись в сухое, хотели завтракать, но прибежал Куликов, пригласил на крыльцо:

— Посмотрите, товарищ капитан...

Поднял бинокль и увидел: курган, на нем немецкие офицеры в черных поблескивающих дождевиках, рядом танк. Осматривают город — он у них как на ладони. А курган-то рукой подать, метров двести пятьдесят — триста... Бегом, проваливаясь в водянистый снег, к мотоциклу, завелись, поехали, побуксовали, снова поехали. Вырвались на главную дорогу к мосту — уже пошурхивают снаряды, позади слышны немецкие пулеметные очереди, но тут что-то вроде рва с высокими стенами, мы укрыты. Наших войск нет. Перескочили на полной скорости мост, который уже почти в воде, — она за ночь сильно прибыла, — ну, подумалось, все. Но Казаков вытянул руку назад, я глянул туда — на кручу почти прямо напротив моста выполз немецкий танк, поводит пушкой...

Дорога от моста обычно шла по дамбе, но там, в чем мы убедились вчера, много рывин. Приняли левее, по наледям и лужам. Видимо, из танка заметили нас, короткий взвизг, снаряд срикошетировал метрах в пяти слева от мотоцикла, нас накрыло ледяной водой. А взрыва нет... Опять болванка! Будь обычный — сыграли бы мы

в ящик... Еще один такой же с тем же результатом, только теперь справа. Куликов «вяжет петли», мотоцикл заносит, опять мокры до головы.

Выскочили, отграничились деревьями. Увидели справа сержанта с артиллерийскими нашивками. Остановились — кто, почему здесь? Оказалось — подошла какая-то батарея, расположена почти рядом, за старой насыпью, в лесочке. Двинулись туда, расспросил командира — знает ли обстановку?

— Вижу.

— Мост не взорван. Опасно.

— Знаю. У нас на берегу наблюдение, в случае чего — дадим по сопаткам... Только, думаю, они на мост не полезут, поопасаются, что заминирован, проверить трудно, вода все прибывает... А что это, товарищ капитан, вас пошатывает?

— Больной он, — сказал Казаков.

Командир батареи вызвал медсестру — небольшого роста, в полушубке, возле носа со щепоть веснушек, улыбчива. Сунула мне градусник, ужаснулась:

— Тридцать девять и четыре!.. А ну, за мной...

Привела в какую-то маленькую избушку почти рядом с батареей. Окна выбиты и кое-как заделаны фанерой, холод, сырость. Уложила в постель прямо в обмундировании, навалила одеял и сенник сверх того... И я сразу отключился от мира сего в какие-то видения, то солнечные, то кошмарные...

Встал на третий день, чувствуя себя так, словно мускулы на ногах и в руках подменили мокрой ватой. Первый вопрос — что с Лисичанском?

— Там немцы.

— Мост?

— Через мост идет вода. Немцы ни переправляться, ни разведывать не пытались.

— Где Казаков?

— Скоро будет. Подошел ваш батальон... И полки подходят. Все нормально...

Вскоре приехали Казаков и Куликов, и мы двинулись в штаб дивизии, разместившийся в Пурдовке. Это небольшая и ничем не приметная деревушка недалеко от Химстроля и, значит, от Северного Донца, но, как ни странно, хотя мы прожили в ней больше месяца, ее почему-то ни разу не обстреливали из артиллерии и не бомбили. Возможно, считали для штабов непригодной...

Перемены. Батальон сдаю капитану Брегвадзе — с горечью от разлуки, но без тревоги. Этот среднего роста худощавый грузин очень рассудителен, опытен, весь путь прошел с нами — был полковым инженером. Там, где иной в горячке может сорваться на крик, он способен обойтись шуткой или остротой — ценнейшее качество на войне, где нервы под постоянной перегрузкой.

У командира второй роты старшего лейтенанта Борисова спрашиваю, как шли от Ворошиловграда до Лисичанска.

— Да, товарищ капитан, вполуплавь... Снег раскис, под снегом вода, луж полно, местами грязь. И недосып шатает на ходу... С немцами тоже схлестнулись — вылезли они в одном месте через Донец. Трусоватыми стали, затыркали автоматами издали... Ну, я один взвод вправо, второй влево, одним напротив к земле привинчивал... Решили, наверное, что окружаем, назад подались, тут мы дополнительно наподдали, человек пять на льду они оставили... У нас потерь нет... Нормально дошли...

Только устроился в небольшой хатке, — благодать, на-топлено, что надо! — приходит с провожатым из штаба мужчина в штатском. Шапка по мокрети свалаялась ко-лтуном, теплое, на вате, короткое пальто, большие рыжие сапоги. Спрашивает:

— Вам лодки нужны?

— Какие именно лодки?

— Не знаю, не разбираюсь... Я от партизан. Когда немцы отступали, мы тут неподалеку четыре их машины застукали. Так в двух вроде складные лодки...

— Покажете?

— О чем речь!

Две машины были с продуктами и вещимуществом, они теперь, понятно, пусты. А в двух «пакеты» — складные из специальной фанеры лодки, на сгибах прочная резина. Двадцать две, каждая человек на десять — целый переправочный парк, о котором саперам мечтать да мечтать! Легко раскладываются и складываются, компактны в перевозке... Немедленно ставим охрану и к вечеру забираем — могут найтись другие охотники. А у нас, в чем мы не сомневаемся, впереди форсирование Донца. Спасибо партизанам, крепко помогли —

если исхитриться, и понтонный мост собрать можно! Кстати, спрашивал я, как же тут можно партизанить, все ж таки не брянские или смоленские леса? Ответ с легкой усмешкой превосходства:

— И тут леса есть, правда, поменьше... Так мы к тому применительно, небольшими группами...

Отчаянные все-таки люди, честное слово. Нам, привыкшим к жизни регулярной армии, это как-то трудно и представить. Но факт есть факт...

В должности дивинженера сиюминутных дел, внезапных переключений с одного на другое вроде стало поменьше, но весьма прибавилось бумажности — донесения, сводки, карточки минирования. Были и стычки. Вызывает начальник штаба. Вхожу. Отогревает у печки приступ радикулита, отчего синие галифе и спина гимнастерки побелились. Зовет к столу, показывает на карте заросший лесом участок Донца:

— Вот тут приказано лесной завал устроить и заминировать.

— Зачем?

— Не догадываешься? Или война кончилась?

— Не понимаю... Немцы на форсирование реки не пойдут, к тому же лед совершенно ненадежен и половодье не за горами.

— Без тебя, между прочим, додумались — на форсирование не пойдут. А разведку могут сунуть?

Да, это правда. А если повалить полосу леса, напутать проволоки и оснастить все минами натяжного действия — шиш пройдешь... Делаем. Немцы с противоположного берега «взбадривают» минометным обстрелом, изредка по ветвям шуршит пулеметная очередь. Но по сравнению с тем, что было на Дону и в контраатаках, это почти лирическая тишина.

И еще задание — выше Лисичанска, у Приволья, напротив шахты Томаша, провести рекогносцировку переправы, сделать все расчеты и составить графики... Когда форсирование? Будет приказ, а готовить сейчас...

* * *

На Северном Донце начинается весенняя подвижка льда, а у меня от этой подвижки неприятности.

У нас новый командир дивизии в звании полковника. Я его еще не видел — во время представления в

штабе мотался по какому-то заданию. И вот вызывает к 7.00. Не в штаб, а в дом, в котором на постое. Прихожу, докладываюсь по форме, и на меня сразу обрушивается такая ругань, такая матерщина, что я просто теряюсь. От генерала Михаила Ивановича Запорожченко, который теперь стал командиром корпуса, я ни разу ни в каких обстоятельствах не только мата не слышал, но и вообще ругани. Он мог быть сух, строг, язвительен, но, всегда оставаясь интеллигентным, никогда никого не унизил бранью. И это как-то само собой становилось стилем общения в дивизии, даже у нас в батальоне матерщина сошла на нет. А тут — ни с того ни с сего такие рулады. На крыльцо вышла молодая женщина, — слышал, что у нового командира была сожительница, не она ли? — вышла растрепанная, в халате, но комдив и при ней продолжал свои «залпы» нецензурщины.

Я был настолько ошеломлен несуразностью всей сцены, что не сразу понял — о чем речь? Оказывается, полковника, — кстати, невысокого роста, с животиком и съехавшим по животу ремнем, — раздражали противоречивые сводки разведки о состоянии льда на реке — нынче тут трещины и полыньи не дают перейти, завтра в другом месте.

— Что это у меня за инженерная служба? Разве нельзя иметь точные данные?

— Но, товарищ командир дивизии, — пытался разъяснить я, — начинается сильное снеготаяние, прибывает вода, на реке подвижка льда.

— Мне нужны не объяснения, а точные данные...

Шум кончился, мне никакого приказа отдано не было, но состояние у меня было такое, что хоть и головой в воду. Я чувствовал себя униженным, растоптанным и взбешенным. Первая мысль — пойти в батальон, попросить стакан шнапса, отойти немного. Вторая — «Ишь, явился из тыла, пороха с нами не нюхал, а уже под сапоги швыряет... Ну нет, мы еще покажем!»... А что «покажем», как? И внезапно у меня созрела идея... Если судить задним числом, сумасбродная, конечно, никчемная... но тогда ведь «заднего числа» как раз и не было, а была сиюминутная ситуация...

Еще уходя из Смоленска, я захватил фотоаппарат ФЭД. Там, работая в газете, овладевал и машинописью, и фотоделом. Учили меня съемке, обработке материала,

печати мастера своего дела Латовкин и Михновский — второго я встретил позже на фронте в должности редактора газеты кавкорпуса в Каменец-Подольске, когда мы только что туда ворвались. В батальоне фотографировал мало, не было ни времени, ни пленки.

Сейчас пленка у меня была — еще под Ворошиловградом, когда спугнули гитлеровцев из стожка, кроме автоматов подобрали на снегу сумку с фотоаппаратом и принадлежностями. Аппарат я отдал в штаб, пару пленок оставил. Теперь я зарядил свой ФЭД и двинул на Северный Донец, на лесистый участок левобережья между Химстроєм и Пролетарском, напротив Лисичанска и шахты Томаша, где пробирались наши разведчики.

Было, вероятно, часов около двенадцати, когда я подходил по лесу к берегу Донца. В большой яме неподалеку от берега сидели четыре солдата и сержант, в центре ямы тлел маленький костерок, в который подкладывали понемногу самые сухие ветки, чтобы не дымил. Снег почти сошел, иногда белело в ложбинке небольшое пятно, а земля набрякла водой, пружинила и чавкала. Странную картину представлял лес, сравнительно молодой осинник — на уровне плеч деревья были источены, изгрызены пулями, некоторые уже едва и держались. Спросил у солдат — что это лес такой?

— Так пулеметами и автоматами с кручи чешут... Пригнувшись тут сколько хочешь ходи, не достают почему-то, а в рост нельзя, шею в два счета перепилят, как тем осинкам...

— А если на берег выйти?

— Там чуть левее снайпер сидит, а правее пулемет... Ну, пулеметчики пока повозятся, а снайпер лупит сразу...

— Я вот хочу ледостав сфотографировать.

— Ухлопают...

И все же я решил пойти на берег — не было у меня другого выхода после утреннего унижения. Наметил на самом закрайке невысокого обрывчика раздвоенную ракету, пригибаясь и рывками добрался к ней. Открыл аппарат, установил выдержку — день мягкий, с тонкими белыми облаками, света достаточно, объект съемки четкий, светло-сизый лед с чернью трещин и разводьев. Набрался, как говорится, духу, пронырнул понизу и встал спиной к ракете. На миг возникло странное ощущение — словно меня и нет, остались только глаза, вместо ног какие-то деревянные подпорки и в груди

комков мокрого снега или ваты... Страх? Наверное. Но в какой-то диковинной модификации, в неизведанном воплощении... Снимал панорамно — четыре впритык снимка сверху вниз, четыре — снизу вверх по течению. И еще два снимка кручи напротив. И — за ракиту, назад, в яму. Попросил свернуть папиросу — у самого еще дрожали руки, — сказал:

— Ну, где же снайпер и пулеметчик? Ни одного выстрела.

— Бывает, что везет, — сказал белобрысый солдат.

— Тут, товарищ капитан, такое особое дело, — добавил молодой узбек, — тут они, наверное, обедали.

В это время в яму «прибыло пополнение» — молодой, гибкий, шустрый сержант с пятнистым маскхалатом, форсисто закинутым за спину. Узнав, о чем речь, сказал:

— Я тоже схожу.

— Убьют.

— Капитан был — ничего. А я разведчик, мне надо лед посмотреть — где переход готовить?

— Надо — это надо, — сказал узбек. — Ты только на четыре ноги двигай, башка не задирай...

— Ладно, разберусь...

Сержант укрыв плащ-палаткой плечи, пополз. Пристроился, как я вначале, за ракитой. Тишина. Я считал, что разведчику вполне достаточно было оглядеть реку из-за ракиты, но он почему-то решил встать. Выстрел. Разведчика швырнуло на землю. Два солдата немедленно устремились к нему, ползком вытащили в яму. Пуля пробила плечо. Узбек сказал огорченно:

— Уже снайпер пообедал...

Обхватив с двух сторон за пояс, пригибаясь, раненого повели из леса. Ушел и я, в саперной роте на окраине леска взял рыжую лошадку, на которой ездил еще на Дону, поспешил в штаб. При штабе был фотограф, ввалился к нему, срочно стали проявлять пленки и печатать фотографии. Получилось нормально.

Уже стемнело, когда я пришел в штаб и попросил командира дивизии принять меня. Разложил на столе, прямо на штабной карте, склеенные в панорамы фотографии.

— И что это такое? — спросил комдив.

— Состояние льда по реке Северный Донец на двенадцать часов пятнадцать минут сегодняшнего дня.

Мне показалось, что полковник покраснел. Но если ему и стало неприятно при воспоминании об утреннем «объяснении», во внешнем поведении это никак не сказалось.

— Кто фотографировал? — спросил он.

— Я.

Он пожал плечами:

— Не думаю, что это входит в обязанности дивинженера...

На том все и кончилось. Извлечь из этих фотографий какую бы то ни было пользу было нельзя — в ночь подул теплый ветер, зашумели ручьи, лед в передвижках рождал новые трещины и полыньи. Больше заинтересовал начальника штаба снимок противоположной кручи — он рассматривал его в лупу, пытаясь обнаружить если не снайпера, то хотя бы пулеметные и стрелковые гнезда.

С комдивом больше мне разговаривать не пришлось, возникла стойкая неприязнь, думаю — взаимная. Приказы и распоряжения я получал через начальника штаба, а его знал с Дона — деловит, мягко насмешлив, точен, если задача сложная, объяснит на карте, даст совет. Все нормально.

Немцы прорвались в Лисичанск, севернее и несколько южнее. Но Ворошиловград и часть Донбасса остались у нас. Видимо, двигаясь к Днепру на грани весенней распутицы, наши чего-то недоучли. Но и немцы, ожидавшие от своего контрудара слишком многого, чуть ли не «реванша за Сталинград», просчитались — их остановили далеко от тех мест, которых они собирались достигнуть. С выигранной Сталинградской битвой за плечами мы все, от солдат до генералов, были уже не те — прошли хорошую школу боев, обрели твердую уверенность в своих силах, научились маневренности, поверили в превосходные качества своего оружия, которого и получали все больше. И немцы были не те — у командования появилась медлительность и перестраховочность в решениях, офицеры и солдаты потеряли нахрапистость в атаке и «железную стойкость» в обороне. Пленные и «языки», прежде заносчивые, теперь, как грешники на покаянии, начинали бормотать «Гитлер капут!».

На передовой трудно было определить, какой произошел перелом — стратегический или оперативный. Но

все твердо знали — произошел перелом психологический, все повеселели от мысли: «Мы сильнее!» И перспектива определялась однозначно — впереди наступление...

Но пока наступала только весна. Подтапливало окопы и блиндажи, проламывало и сносило мосты на ручьях и речушках в расположении дивизии. Саперы, позабыв о делении суток на день и ночь, бросались на бесконечные «прорывы» — пути подвоза должны быть постоянно открыты, снаряды и патроны, не добравшиеся к сроку до передовой, — это не только напрасно потраченный труд, но и лишняя кровь. И в холодные ночи от спин валил пар, и валился фашинник в прорвы, и на мостиках, через настил которых катилась вода, всю ночь шлепали кирзовые сапоги, вспыхивали фонарики, обозначая свободный проезд, и рычали, исходя сизым дымом, тракторы с машинами на буксире. Эти сражения не отражались в боевых сводках, но какого изнурения они стоили!

На фронте «работали» артиллерия и разведка.

Я закончил расчеты и графики на форсирование Северного Донца у Приволья — штаб утвердил их. Хорошо вписались сюда лодки от партизанских щедрот. Както с командиром химвоты с утра до вечера болтались на мотоцикле, на лошадях, пешком по берегу Северного Донца, примериваясь на всякий случай к задымлению переправы. Один раз близким разрывом снаряда — воздушной волной и водой — меня сошвырнуло с мостика во вздувшуюся речушку. Вода холодна, снеговица, но ничего, обошлось даже без аспирина.

Вечером 29 апреля я сдавал дела новому дивинженеру Бушуеву. Он был освобожден нами в Ворошиловграде — больше года провел на оккупированной территории, имел, правда небольшую, связь с партизанами, прошел проверку. Утром прибыл в штаб и был представлен. Меня поразила его худоба, даже тощая шея свободно вертелась в воротнике гимнастерки.

— В госпитале довели? — спросил я, тогда еще не зная о нем ничего. Он неопределенно кивнул.

За окнами — чернильная тьма, дождь. Моя «контора» помещалась в хате, недалеко от штаба. Небольшая деревня Пурдовка, приткнувшаяся к леску, находилась прямо напротив Лисичанска, артиллерией достать ничего не стоит. Но почему-то ее не обстреливали и не

бомбили, полагая, вероятно, что в такой близкой и зачуханной деревеньке штабам располагаться непрестижно и опасно. Немцев подводило стандартное мышление! Зашел Михаил Шульжик, которого по-прежнему называли комиссаром, кивнул на стол, заваленный бумагами:

— Все копаются?

— Кончаем. Оставайся — поужинаем.

— Некогда. Зашел с тобой, капитан, попрощаться, кто знает, свидимся ли. Война.

— А некогда отчего?

— На правом фланге подозрительно — там форсирование предполагается, лодки выдвигаем. Как бы не стали прощупывать.

— Не полезут они через Донец по такой погоде.

— Ты это за себя решаешь или за командира немецкой дивизии? Нет, я пошел...

Открыл дверь и словно провалился в мокрую прорву. Гукнул артиллерийский залп на левой окраине Лисичанска — куда, зачем?

Папки с приказами, карту с инженерными сооружениями я уже передал.

— Не жалко? — спросил Бушуев.

— Грустновато. Привык, конечно.

Он задержался взглядом на одной из карточек минирования:

— Не понимаю... Загогулины.

— Вы в начале войны в шахматном порядке минировали?

— Конечно.

— Немцы и сейчас так же... Прimitивно. Мы перешли на координатное. Сперва в батальоне, сейчас и другие переняли. Тут голову поломаешь!

Бушуев поднялся, прошелся, проскрипел старыми половицами:

— Трудновато мне придется... Видишь, и минирование другое, и трофейные немецкие лодки... Да это мелочи, войска другими стали.

— Так уж и другими...

— Да... Ехал сюда с командирами и солдатами на попутке. На передовую возвращаются, а настроение веселое. Прежде ведь и немецкого солдата боялись — нахрапистый, машина, — и оружия фашистского — автоматы, танки... Техника! А теперь посмеиваются: «Ничего, дадим прикурить». Сталинград, что ли, возжег?

— Это само собой. Да и после Сталинграда били — в донской излучине, на Донце, в Донбассе. И автоматов прибавилось, и пушек, и танков, и «катюши» концерты дают...

— Понятно. Но — люди другие вроде.

— Не зря говорят — бытие определяет сознание...

— А у меня в мыслях сорок первый шевелится... Там ведь другие были настроения... Вот и боюсь — не слишком въелось?

— Ничего, с плохого на хорошее легче переходить...

Проговорили почти до свету, хотя мне надо было выспаться — по задолженности и в запас. Но очень уж интересен был взгляд «человека со стороны» на наши дела и нас самих — в буднях по мелочам набегало, не замечали, теперь, когда видится в целом, удивляет других, «со стороны». А мы удивляемся — как сюда дошли... Меняется все, течет...

Утром 30 апреля шофер Куликов повез меня на мотоцикле в редакцию. На Северном Донце лениво била артиллерия. Степь сырая, холодная, широко открытая. На половине пути нас с ходу обстрелял из пулеметов немецкий истребитель — строчка шевелящейся земли прошла правее. «Подгоняет гитлерюк!» — комментировал Куликов.

В середине дня я представился редактору газеты Филиппову Николаю Степановичу, затем познакомился с украинским писателем Никитой Шумило и поэтом Марком Лисянским, которые уже работали в газете. Забегая вперед, сообщу: в конце марта 1945 года тяжело раненного Никиту Шумило я вывозил из-за Одера в госпиталь — ночью, через переправу, по которой били немецкие пулеметы. А с Марком Лисянским в дни сорокалетия Победы выступал на телевидении...

С газетой пролег мой путь через Украину, Польшу, Берлин на Прагу.

Впрочем, 5 мая 1943 года, уже в качестве корреспондента, я был на переправе — наша дивизия форсировала Северный Донец и заняла плацдарм напротив шахты Томаша. Форсировала по плану, составленному еще мной. В редакции мне сказали: «Ты тут больше знаешь, можешь точнее написать». И я был рад моему первому редакционному заданию...

Но это уже другая история.

Что сказать в заключение?

Я писал о 66-м отдельном гвардейском саперном батальоне, входившем в 59-ю гвардейскую дивизию сначала 1-й, а потом 3-й гвардейской армии. Если учесть всю громаду фронтов, нас, что называется, только в микроскоп и можно рассмотреть. Но живое целое состоит из живых частей и только в комплексе может быть глубинно понятно. Хотя ясно, что каждой части по составу, по месту и характеру действий присуще нечто свое, неповторимое.

Для нас это, вероятно, выражалось прежде всего в том, что батальон и дивизия не были кадровыми, формировались наново, подавляющее большинство офицеров и солдат влилось из гражданки. Таким образом ЭТО БЫЛА ЧАСТЬ НАРОДА, В ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СТАВШАЯ ЧАСТЬЮ АРМИИ. И тогда, и после это обстоятельство приводило меня к мысли: НАРОД, СПОСОБНЫЙ СТАТЬ АРМИЕЙ,— НЕПОБЕДИМ!

Сознательно уделил я много места формированию и учебе: ЧТОБЫ ВОЕВАТЬ ХОРОШО, НАДО К ЭТОМУ ГОТОВИТЬСЯ. Трудно это идет, порой с просчетами, противоречиями, сбоями, но если командиры вкладывают себя в дело без остатка — цель достигается.

Не выделял я особо героики, подвигов, хотя они были. Мне казалось и кажется, что главное — это работа, работа, наилучшее выполнение своей задачи каждым. Знать, делать, непрерывно искать лучших и новых решений! Убежден — на одну минуту жаркого успешного боя надо потратить минимум десять дней будничной подготовки, труда.

Сегодня другая техника, другие темпы, но, думается, этот принцип остается в силе. И даже с возросшим значением!

Художественное изображение войны, сюжетное, с яркими характерами и динамикой действия производят сильное впечатление, и у нас немало таких книг. Немало и еще будет. Я такой задачи не ставил, просто рассказывал, что было и что чувствовалось. Слышал я в литературных кругах немало суждений с высокопарными словесами о «полной правде войны». Как будто правильно. Однако нередко оказывалось, что под такой «правдой» понимались «нечеловеческие страдания», ду-

шераздирающие драмы, нудные, путанные «окопные философии». Чтобы поострее ранить души, выжать слезу. Каюсь — нередко это мне казалось просто спекуляциями.

Да, война жестокое дело. Да, убивают, калечат. Да, страшно. Будь она проклята, война! Но если она выпала на долю поколения, хотя бы и без его вины, — надо воевать, надо защищать свое правое дело. В исполнении этого долга — СУДЬБА, ГЛАВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА. Так действовали предки, без чего не было бы и нас, и Отечества нашего, так действовали в гражданской войне, без чего не было бы социализма. Что необходимо? Увидеть, понять человека на войне. Литье жалостливых слез, расписывание ужасов, нудные копания в «окопных философиях», от которых за сто верст несет надуманностью, не помогает этому.

Ветераны не нуждаются в слезливой жалостливости — они достойно исполнили свой долг и заслужили уважение своего и грядущих поколений. Твердостью, делом, мужеством, храбростью — качествами, которые издревле почитаются высшими в человеке!

А для охотников лить жалостливые слезы дает достаточно поводов и мирная действительность. Смерть? Каждый день копаются свежие могилы и дымят крематории. Калеки? Сколько их дают одни автомобильные катастрофы. Растечения в лжефилософиях? Сколько их можно найти даже на кухнях.

Главное, в чем выражается человек, личность, характер, — ЭТО КОНКРЕТНОЕ ДЕЛО. ОСОБЕННО — В ЗАВЕРШЕННОСТИ. В процессе его может быть всякое, что ни человек, то и не счесть противоречий, из их развития, перетекания, преодоления в динамике действия и обрисовывается художественный тип. НО ОРИЕНТИРУЮЩИМИ ВСЕГДА БЫЛИ И ОСТАЮТСЯ ЦЕЛЬ, ДЕЛО, ЕГО ЗАВЕРШЕНИЕ.

О ветеранах войны я сказал бы: из них не надо делать ни «святых великомучеников», ни Диогенов в бочках. Они реальнее, интереснее такими, как есть. И еще — не забыть работников тыла. У них не было ежеминутной смерти над головой, но в остальном им, может быть, приходилось и потруднее. ВСЕ ЖЕ ВМЕСТЕ МЫ РАЗГРОМИЛИ ФАШИЗМ, А С ТЕМ ОТКРЫЛИ ДЛЯ СОЦИАЛИЗМА ДОРОГИ ПО ЗЕМНОМУ ШАРУ. Если каж-

дое поколение выполнит свой долг с такой же отдачей, прогресс человечества гарантирован.

* * *

А нас, ветеранов, преследуют воспоминания. Я стоял у гроба генерала Запорожченко в московском крематории, а в ушах все звучал его голос — оттуда, с Дона, требовательный, язвительный. Живой. И вижу пытливые глаза инженера Домикеева, хитро-озорное выражение на лице Афанасенко, который вернулся с войны Героем Советского Союза. И у ног моих завивается поземка донской излучины, и сверкает в подвижках лед Северного Донца, и клубятся дымы Берлина, и течет серая вода Эльбы, и ходит по газону, на который мы свалились в изнеможении после боевого броска в танковой колонне в Прагу, худенькая чехословацкая девочка с ковшиком воды, стеснительно предлагает тихим голосом:

— Братику, пити?

И мы пьем в какой-то неодолимой, но светлой дремоте — кончили, дошли!

Это наше и с нами навсегда. И всякий рассказ об этом — своеобразен и неполон. Обо всем — невозможно, не хватит времени, надорвется душа...



III. СТАЛИНГРАД — БЕРЛИН

Размышления и ретроспекции через сорок лет

Кстати, случаются вещи, которых оттуда, из предвоенных и военных лет, предвидеть было никак невозможно. Всем известен роман Ивана Стаднюка «Война», который как бы продолжается книгой о битве под Москвой. Интересный, большой роман, реалистический.

А я Ивана Стаднюка знал до войны — он учился в политшколе в Смоленске, там организовали литературный кружок и меня пригласили на общественных началах руководить им. Хорошие были ребята, искренне тянулись к литературе, пробовали писать стихи и прозу. Но из всех для меня выделился Иван Стаднюк — он был, на мой взгляд, наиболее близок к серьезному литературному творчеству. Я помог ему опубликовать первый его рассказ «Лена» в газете «Рабочий путь», где работал. Это и было началом его литературной биографии. Спустя примерно года полтора, когда до войны оставалось чуть больше месяца, в Белоруссии, в Минске, было организовано совещание военных писателей. Пригласили меня, но я настоял также, чтобы в этом совещании участвовал и Иван Стаднюк. И мы участвовали вместе. Потом, в первые дни войны, я рекомендовал его в военную газету...

И вот теперь роман-эпопея «Война» и новый роман о битве за Москву. Иван Стаднюк — крупнейший советский писатель. Он вошел в литературу из политшколы, отвоевал, и, я уверен, читатели получают от него еще не одну книгу о войне.

А где-то — и в этом я тоже уверен — в армейской политшколе или на службе в армии растут новые таланты. У них будут и новые темы, но будут и произведения о Великой Отечественной.

Она оплодотворяет творчество многих поколений!

* * *

Есть хорошая русская поговорка — «Кончил дело, гуляй смело». Но вот в канун 40-летия Победы стал возникать во мне вопрос — а кончилась ли война для нас, ветеранов, совсем ли мы ушли оттуда? И, как не перепроверяй, оказывается — фактически-то да, мы ушли оттуда, но она вросла в наши думы, в умы, в память, стала частью нас самих. Вот, скажем, начинаешь читать записки, блокноты тех лет и — проваливаешься туда, в грохот и вой, в снежные и дымные просторы, по которым трещит, гудит, гуляет смерть. И задним числом мурашки по коже — неужели ты это делал? И после всего, что было, дошел до этих новых дней и лет?

Странное, неповторимое чувство. И еще замечаешь — ветераны, если они были тверды там, на войне, если не поддались расслабленности и не позволили скрутить себя всяким «новомодностям», — это последовательные, надежные люди. Ищут, думают, творят в меру сил, не подведут!

А при том появилась и возможность, и потребность оглядеть события войны в целом, как бы с некоей высоты, понять значение отдельных событий в составе целого, по достоинству оценить, что значила Победа не только для нас, для нашего народа, но и для человечества. Это такая страница в истории, без которой не сделать добротного настоящего, не обеспечить надежного будущего! И значение ее — вселюдское.

Из таких размышлений и сложилась для меня потребность дополнительного осмысления, обобщения. И я написал об этом «СТАЛИНГРАД — БЕРЛИН». Не все, конечно, вошло и сюда — уверен, что будут продолжения, мои или еще чьи-то. Будут!

* * *

На войне, сколько бы там ни приходилось спать, тоже снились сны. Самый страшный: на тебя бежит гитлеровец с автоматом, ты стреляешь, видишь дырочки на мундире, а он бежит. И просыпаешься от собственного крика — хорошо, если при этом не разбудишь других, припечатают словесами. И еще на войне мечтали превыше всего — о конце войны. Виделось это по-разному.

Рядовой Снегирев, совсем молоденький и небольшо-

го роста, конец войны видел так, что он лично берет в плен Гитлера. Такое немаловажное обстоятельство, как двухтысячеверстная туда дорога — а по войне, со смертью над головой, тут еще и множить неизвестно насколько, — его не очень смущало. Верил — прибудем, куда надо. Смущало другое — и кроме него, Снегирева, найдется в достатке желающих да ухватистых. Перехватят, черти...

Было это в окопах Сталинградского фронта, на плацдарме, с которого при танковом лязге сомкнулись у Калача клещи окружения на горле у Паулюса. Но клещи — это позже, а тогда каждый день — жизнь, как в молотильном барабане: грохот, минное кряканье, пулеметная и автоматная трескотня, пыль, чад. Утро, бритье. Намылил щеку — идет девятка бомбардировщиков, ложись. Прошли, снова намылил, поскольку высохло, несутся над окопами и поливают пулями, как водой из брандспойта, истребители — опять ложись. Лыко-мочало. Осталось зачистить подбородок — вмазывают не то что «чемоданы», а прямо-таки «комоды» — тяжелая немецкая артбатарея из-под Ягодного, осточертевшая с лета.

Вот в таких условиях мечтал Снегирев взять в плен Гитлера. Смешно? А это как посмотреть. Вероятно, проговорился солдат, значит, — тема для пересудов. Были — посмешки, были — язвительные «треплики», были трезвые напоминания. Спрашивал я у командиров — смешно, верно? Соглашались: чтобы лично Снегирев захватил Гитлера — смешно, конечно. А до Берлина идти придется, это как пить дать. По-своему комментировал это военфельдшер Зотин, лечивший наши недуги и проехи на коже от пуль и осколков, — с более серьезными отправляли в медсанбат. Лечивший, надо сказать, не без юмора. Если кто жаловался на головные или желудочные боли, Зотин предлагал:

— Дам второй фронт... Пойдет?

— А что это такое?

— Английская соль, слабительное. Ясно?

— Почему же «второй фронт»?

— Напоминание о союзниках... Другого не видно.

О Снегиреве сказал:

— Из детских штанишек недавно, завихряется. Но с другой стороны — по существу. Если не верить, что в Берлин придем, то и тут как стоять?

Мой заместитель Юрий Кондратюк, которого за внешнюю схожесть и любовь к стихам звали Пушкиным, сказал:

— В Берлине они нам за все ответят.

— Далековато, никаких сапог не хватит.

— Об этом пусть старшина Смирнов заботится, в крайнем случае, на что-либо выменяет. Или у казаков чирики выпросим. Хотя в чем, а идти надо.

Солдат Афанасенко, ставший впоследствии Героем Советского Союза, хмыкнул:

— Хай им грец, тем фрицам, вон куда из-за них переть придется — в самое логово. А может, они раскумекают, что к чему, сами дадут Гитлеру коленкой куда надо?

— Навряд ли.

— Тогда чо ж... Тогда придется.

Вот размышляю, пишу и ловлю себя на мысли — не мелочи ли? Совсем другое — атаки, контратаки, бомбежки, артиллерийские дуэли, переправы, разведка. Масштабно, всем видно! Но, с другой стороны, воевал-то человек, и в зависимости от того, что у него внутри, как думал, как понимал окружающее, какие цели ставил и во что верил, напрямую зависело — как воевал. Вселенная, между прочим, состоит тоже из «мелочей» — атомов и молекул, но в итоге — Вселенная, даже воображением не охватить. А здесь — вера в себя и товарищей, вера в силу страны и победу. Не важно, что выражалась она порой причудливо, смешновато, фантастично, важно, что она была, жила под каждой пыльной и мятой, наспех стиранной в холодной луже или пробитой гимнастеркой.

Без этого выдержать сталинградское лето 1942 года было попросту невозможно.

* * *

У нас не было особого численного превосходства перед немцами даже в пору окружения Паулюса, а о лете и начале осени и говорить нечего. Случалось, что нашу передовую немцы с утра до ночи терзали с воздуха, а мы за весь день не видели ни одного своего самолета. И теперь, оглядываясь назад через дали времени, я прихожу к одному выводу — держались мы на

сверхоружии, которым является идейный и духовный потенциал армии.

Он, этот потенциал, сложен, тут все — историческая память и советский опыт, боль за отчужденную землю, родных и близких, партийная работа, чувство единства в горе и радости, все более глубокое осознание происходящего. Штурм Зимнего. Ленин на броневике. Пятилетки. «Широка страна моя родная». У мощного дерева хорошо обзвевается крона, но говорят, что, невидимые в земле, каждой ветке и веточке соответствуют корень и корешок. Гроза может раздирать сучья и срывать листву — корни ей неподвластны, они выгонят новые побеги и воскресят дерево в еще большей мощи и красе.

Корни нашей народной жизни были неподвластны гитлеровской военной машине. Пример тому — не только Сталинградский фронт, но также партизаны Брянщины, Белоруссии, Украины, подпольная борьба в каждом оккупированном городе и районе. Если не силой духовного потенциала, то чем еще и как объяснить бесчисленные героические деяния, о каждом из которых можно написать захватывающую дух книгу, чем и как объяснить, что захватчики чувствовали себя на оккупированных территориях, как на вулкане?

И еще.

Этот духовный потенциал, который для нашего народа является СВЕРХОРУЖИЕМ, надо нам полностью использовать и сегодня, каждодневно. И тогда наша мощь и благополучие будут гарантированы, и любители авантюры тысячи раз поскребут в затылках, прежде чем нам угрожать и нас провоцировать. Вспоминать о Сталинградской битве они, понятно, не любят — ладно, и солнце пытаться закрыть пятаком никому не запретишь. Но ДУХ СТАЛИНГРАДА, в столкновении с которым сломали себе шею претензии на «мировое господство», им придется учитывать непременно.

И еще одно возникает в памяти.

Творческий поиск, изобретательность.

Воевать можно по-разному: записано в уставе, приказано, указано — выполнил. Не лучшим образом получилось, излишние потери и невелик результат — спроса нет, сделано по приказу. А можно, сообразуясь с уставом и выполняя приказ, решать задачу изобретательно, применительно к обстоятельствам. Народ наш талантлив, с богатым воображением, если возжаждет

или обстоятельства требуют, мастеровит до чудодейственности — повесть о Левше, подковавшем английскую блоху, вроде сказка, да в ней и урок.

Война воображения, талантливости, изобретательности не отменяет. Наоборот!

В Сталинграде наши солдаты сближали свои окопы с гитлеровскими на бросок гранаты. Неуютно, не по наставлениям? Вроде так. Но у немцев было превосходство в авиации и артиллерии, при достаточном удалении переднего края они обозначали свой ракетами, а наш перепахивали бомбами и снарядами. А при удалении на бросок гранаты как бомбить и обстреливать? Можно и своих в землю вбить. И как много дала для устойчивости обороны эта неожиданная тактика, как много жизней спасла!

Там же, в Сталинграде, появились впервые штурмовые группы для уличных боев в городе — и сколько удивительных подвигов было совершено ими, в каком напряжении держали они противника. Потом и тактику сближения переднего края, и штурмовые группы для решения частных задач использовали не только в городе, но и вообще на Сталинградском фронте.

* * *

Мне уже доводилось рассказывать, как при форсировании Дона в конце августа и создании плацдарма от Еланской до Серафимовича наш батальон организовал переправу по канатам. Ни в одном уставе, ни в одном наставлении ничего подобного не было и нет. И на практике тоже. Дон — река серьезная, широкая и быстрая, с омутами и стремнинами. «Штатных плавсредств» — надувных или складных лодок, паромов, каких-либо судов у дивизии нет. Только самодельные плоты из бревен и плетней, тяжелые, неповоротливые — пока плывешь, с высот половину людей пулеметами порежут. А мы перед самым форсированием, за пятнадцать минут до артподготовки, завели через Дон два самодельных каната и по приказу — рота за ротой в воду, двигайся так скоро, как скоро можешь перебирать руками. Видимость в рассветной серости при туманце была плохой, сидевшие слева на меловой высоте итальянцы сперва ничего не заметили и не поняли, а когда разобрались, у них уже трещал и разваливался левый фланг. Часть —

бежала, часть окруженных сдалась в плен, была захвачена важнейшая высота, артиллерия противника — что было исключительно важно! — «потеряла глаза», наблюдательные пункты на высотах и не могла вести прицельный огонь.

Что было знаменательно в этой переправе? Оригинальность, необычность — само собой. Но, пожалуй, самое удивительное — малые потери. До того малые, что самим не верилось. В дневнике у меня записано, что переправлявшаяся первой пятая рота имела всего двух легкораненых, которые и строя не покидали. При переправе четвертой и шестой рот был убит или утонул, сорвавшись с каната, один человек. А переправили мы два полка своей дивизии и два — соседней. И, пожалуй, самое интересное — ни сам я, бывший комбатом, ни живой поныне бывший комиссар батальона Михаил Шульжик не можем установить, как родилась идея такой переправы, кто сколько вложил инициативы и выдумки в ее осуществление. Коллективное, всебатальонное дело!

И еще одно любопытное новшество родилось у нас.

И мы, и немцы ставили минные поля по шаблону — в шахматном порядке. Три мины нашел, остальные, как говаривали у нас, «хоть бы и вилами выковыривать, вроде картошки». Это облегчало нам разминирование немецких минных полей, но в равной степени гитлеровцам — наших. И разработали мы координатный способ минирования. Испробовали его во всей зримости на высотах за речкой Калитвой. Немцы лезут в контратаки по узкой горловине между двумя оврагами, а у нас силенок маловато. День продержались, в ночь поставили между оврагами координатное минное поле. По рассветной поземке сунулся гитлеровский танк — подорвался. В снеговое засуетились немецкие саперы, нашли две мины, решили, исходя из «шахматного варианта», что больше нет. Сунулся броневик — подорвался. Так и не прошли они через горловину, которую защищали всего два взвода с автоматами и одним пулеметом. Чтобы разминировать такое поле, не имея на руках карты, им надо было перебрать руками каждый дециметр снега в горловине. Наверное, поносили нас последними словами — мол, некультурные эти русские, ни в чем у них нет порядка. Но порядок-то был, только более высокого уровня!..

Я говорил о «придумках» нашего батальона. Но что такое батальон в сравнении с армией? Молекула! Например, при наступлении к Северному Донцу нам в качестве батальонного вооружения привезли... деревянные мины. Очень простая штука — ящичек из досок, в нем толовые «кирпичи». Кое-кто посмеивался — «осталось из сапог в лапти переобуться». Оказалось — посмеивались зря. И у нас, и у немцев появились миноискатели, идет с ним сапер, и металлическая мина сама заявляет жужжанием: «Я тут!». Дивизионный инженер майор Домикеев, не тратя слов на агитацию, разложил эти деревянные мины на снегу, приказал двум солдатам: «Действуйте!» Результат — мины вот они, а миноискатель помалкивает, «не признает своих».

Нашелся из рядовых довоенный столяр, предложил: — Тол трофейный у нас есть, детонаторов трофейных тоже девать некуда... Отведите мне пуньку, дайте помощника — я таких «пряников» сам наделаю...

Когда вспоминают о войне, много говорят о героизме и мужестве. И это правильно. Но сколько жизней уберегли, сколько материальных ценностей спасли мужество, героизм в соединении с живым умом, изобретательностью, смекалистостью, золотыми руками мастеров! Немало посвятив раздумьям о делах тех лет, я все больше утверждаюсь во мнении, что все это также органически входит в понятие ДУХ СТАЛИНГРАДА.

После Сталинградской победы реальный путь до Берлина, в километрах, оставался почти таким же, как в начале битвы. Но было у каждого из нас какое-то внутреннее ощущение, будто он сократился вдвое и втрое. У армии отрастали крылья победы — легче шагало, легче дышалось, легче воевалось. Эмоции? Может быть. Но скородумам, которые могут отнестись к ним легковесно, хочу напомнить: во-первых, эмоции всюду, где человек, на войне — тоже, без них и человека-то не было бы; во-вторых, в основании эмоций лежат реальные, исторически общепризнанные факты — после Сталинграда гитлеровцы не провели ни одной крупной наступательной операции успешно. Попытались на Курской дуге — не вышло, покатались вспять. За Днепр и далее.

На пути к Берлину многое пришлось повидать — начни обо всем рассказывать... и конца не будет. Наша 3-я гвардейская армия, с плацдармов которой наносил-

ся удар на Калач с окружением группировки Паулюса, брала Ворошиловград, сражалась под Ирмино против 1-й немецкой танковой армии, переброшенной с Кавказа. Форсировала под Лисичанском еще раз Северный Донец, шла через Донбасс — пахло углем, угрюмовато подпирали небо терриконы, шелестела уже побуревшая кукуруза. С обреченностью в душе упирались немецкие заслоны. До конца жизни будет стоять в глазах картина: край кукурузного поля, все перекорежено и смято, исковерканные пулеметы и минометы, разбросанные автоматы, кровь на рыжей пыли, трупы, трупы. Погиб очередной гитлеровский заслон по очередному сумасшедшему приказу — позиция плохая, окопаться не успели, и — все в землю. Ради чего? Бессмыслица!

Холодным осенним утром вошли в Запорожье. Бой на время прекратился, с непривычки пугала и оглушала тишина. Смотрел на Днепровскую плотину — взорвано, исковеркано, перекошено. Может быть, поэтому позже испытал я буквально ярость в связи с одним событием, о котором имеет смысл помнить долго. Для восстановления Днепрогэса наше правительство заказало в США турбины. Заказ был принят, турбины изготовлены, а президент запретил вывозить их в Советский Союз. Сколько жизней американцев спасено в связи с тем, что главная тяжесть борьбы против гитлеризма пала на нашу страну, сколько жизней, опять-таки американцев, спасли наши войска, разгромив в короткий срок миллионную Квантунскую армию — главную сухопутную армию империалистической Японии! И вот — запрет на поставку турбин для Днепрогэса...

Что же, мы их сделали и поставили себе сами. Но — и в этом меня не переубедит никто на свете! — я до конца жизни буду видеть в том президенте не цивилизованного человека, а жалкого торгаша, который способен вырвать кусок хлеба из рук умирающего от голода человека. И при этом ханжески болтать о «равных возможностях», «демократии» и «правах человека». Гитлеровцы довзорвали Днепрогэс, чтобы нанести нам рану поглубже, «обесточить» и, значит, обречь на бедствия огромный промышленный район, американский президент сделал все, чтобы помешать восстановлению, — что тут с чем и как переплетается?

Впрочем, это было позже...

В Запорожье же тогда было тихо, только шумела

вода в развалинах плотины. Но всходило солнце, истаял первый осенний иней и набирал силу первый мирный для города день. А до Берлина все еще было очень далеко. На пути к нему я видел, как наши танки под древней Целлендж форсировали Западный Буг и вступили на территорию Польши. До чего отрадно вздохнулось — вся наша страна лежала за спиной, очищенная от оккупантов! Но после освобождения польского города Хелм я попал в Майданек под Люблином — и от этого в памяти остался навсегда незаживающий черный рубец.

По странной случайности получилось так, что наши войска обошли концлагерь, — не до того, бой, а гитлеровская охрана бежала. Я бродил по лагерю один, и на меня все сильнее давило ощущение, что все здесь за пределами реальности, что я каким-то образом оказался внутри картин Гойи. Прямо в поле, ничем не огороженная, стоит печь, она еще дымится, и на колосниках лежит тлеющий труп, черный, как деготь. И еще — аккуратно выложенная в форме строгого конуса куча белых черепов. Это было так страшно в тишине безоблачного дня, что хотелось кричать, бежать. Я сфотографировал эту грудку черепов, и назавтра снимок был опубликован в нашей армейской газете.

Что на войне убивают, понятно. Но могут ли называться людьми те, кто довел технику уничтожения себе подобных до такого извращения? Будь на то моя воля и возможность, я бы, прежде чем они займут свои посты, показывал это всем президентам и премьерам — чтобы не чесались руки от милитаристского зуда. Ведь так хочется думать, что при всех властолюбивых завихрениях в них человеческого больше, чем звериного!

Потом были еще реки — Висла, Одер, Шпрее. Но наиболее памятные впечатления, пожалуй, связаны с Эльбой.

Наши войска уже вышли к реке и ожидали американцев. Обсудив ситуацию в редакции, я, Михаил Яновский, не так давно умерший в Ленинграде, и Борис Юдин, поныне работающий в «Крокодиле», решили побывать там. Двинулись к Торгау на дважды трофейной французской машине марки «Рено» — немцы бросили ее при отступлении, мы выбрали и приспособили для редакционных нужд.

Рассвет занимался серый, мглистый. Ехали трудно —

дорожные указатели отчасти сбиты гитлеровскими службами, отчасти искрошены танками. Мостики на небольших речушках взорваны или с ободренным настилом, около одного чуть не вкатили на минное поле, хорошо — был саперный опыт. Из кирпичного дома рыкнула пулеметная очередь — чего ради и куда неизвестно, нам не досталось.

Наконец приехали. Мост у Торгау перебит взрывом, фермы на середине — концами в воде. Чуть выше моста переправа на больших и неуклюжих металлических лодках, всех заметнее наш командир в кожанке — организует, указывает, сам сидит на руле. Городок на той стороне — темно-кирпичный, с росчерками готики, какой-то нетронутый мирный. Первая встреча уже состоялась, были там объятия и нечто вроде митинга — мы не видели. При нас наши солдаты ездили на тот берег, американские — к нам. Там угощали виски и сигаретами, тут — водкой и папиросами. Немножко возбужденное, суматошное, но явно дружеское общение.

Встретили рослого блондина с эмблемой на пилотке — «Пресса США». Он вскоре привел еще одного американца и канадца. Разостлали на травке скатерть, достали сало, котлеты, черный хлеб, водку, соленые огурцы — специально запаслись на редакционной кухне. Американцам нравится — не консервы и «экзотично». С горем пополам — Яновский немного знал английский, а канадец с пятое на десятое русский — налаживается беседа. Я фотографирую ФЭДом, который захватил, покидая навечно квартиру в Смоленске, — вот фотоаппарат, чего только не досталось ему в Подмосковье и сталинградских степях, а ничего, работает. Американец не верит, что наш, — приходится показывать марку. Но еще больше не верит — аж глаза округляются! — что мы со Сталинградского фронта, причем были на нем от начала до конца, а я еще и комбатом. Он думал, что нас там всех побили или в лучшем случае перекалечили.

— Но Паулюс был так силен!

— Ага... И все же мы тут...

По-моему, так до конца и не поверил.

Словом, беседа как беседа. И встреча как встреча. Но было у нее продолжение.

В 1954 году в числе советских журналистов довелось мне совершить поездку по США, о чем позже написал книгу «Семеро в Америке». В конце — а мы проехали от океана до океана, хватили всякого, от искренне дружеских встреч до провокаций — нам устроили прием в газете «Нью-Йорк геральд трибюн». И тут я вспомнил об их сотруднике, с которым встречались на Эльбе. Поудивлялись, не сразу, но выяснили, что теперь он работает в «Нью-Йорк пост». Вернувшись в Москву, я нашел старые негативы, отпечатал фотографии и послал американцу. На память о встрече.

И вышла прелюбопытная история.

Месяца через четыре или пять попался мне журнал «Лайф», в котором был напечатан большой очерк того самого корреспондента о встрече на Эльбе. Очерк так себе — много поверхностного трепя, прихвастывания с антисоветским душком, поскольку уже дохнуло «холодной войной». Удивило не это, удивило другое — иллюстрациями к очерку, помимо одной, служили четыре или пять моих фотографий. Но — без ссылки, кем и когда сделаны. Такие уж, видно, у них нравы — у американских журналистов. И думается теперь — лучше бы нам там, на Эльбе, с американскими солдатами встречаться, многие из них поныне добром поминают эту встречу, шлют нашим солдатам приветы и письма. И все же «встреча по интересам» вспоминается не без приятности, — как-никак до Эльбы дошли! — но и с некоторой иронией.

И вот — Берлин.

Рейхстаг — монументально тяжеловесный, со стенами, выщербленными снарядами, седыми от времени и темными от копоти, продуваемый сквозняками, поскольку все нараспашку, и пахнущий гарью, поскольку в коридорах и залах еще тлеют вороха бумаг. Уговариваю Михаила Яновского подняться на купол рейхстага, настраиваю фотоаппарат и прошу сфотографировать.

Недолго я пробыл там, но передумал и перечувствовал много. Все исправные часы отмеряют время одинаково, для каждого человека, в зависимости от его состояния, оно течет то медленнее, то несется с непостижимой быстротой. Тут во мне — вихрем. Я стоял почти рядом со знаменем Победы — знаменем на рейхстаге!

С одним из водрузивших его, М. В. Кантария, мы встречались после войны, вспоминали дни минувшие. Но тогда я не знал его, видел неспешно реющий флаг и все во мне ликовало — кончили, дошли! Перестанут реветь орудия, выть бомбы, стонать и умирать товарищи — кончили, дошли! Дошли, черт возьми, дошли! Мечтали об этом в сталинградских степях, верили и вот... Счастье? Да, конечно! И печаль — столько горя, могил, разрушений позади. И об этом напоминает сам вид с рейхстага — руины, курящиеся дымом и пылью, провалы в стенах, неистребимый, все пропитавший чад войны...

Зная, что я был одним из комбатов Сталинградского фронта и входил в Берлин, знакомый журналист агитировал:

— Это ж здорово — два таких этапа войны! Напиши, как прошел оттуда сюда...

Изначально, поддавшись эмоциям, полусогласился. Но чем больше думал, тем меньше было охоты писать о своем личном пути. Не было меня в отдельности от других! Даже там, на куполе рейхстага, не в отдельности — сам видел в нижних этажах, на колоннах и стенах надписи: «Мы — из Сталинграда!» И учащались «обороты» сердца под шинелью — ну, братцы-сталинградцы, ну, молодцы!

В Берлин во главе армии пришел и легендарный герой Сталинграда Василий Иванович Чуйков. Позже не раз были встречи с ним в Москве — вроде добродушен, но характером крепок весьма, несмотря на звания и регалии, держался просто и даже простовато. На язык остер. Если использовать известное выражение, то не просто человек, а — человечище! В компании мог похитроумничать — однажды в праздничном застолье у Егора Исаева делал вид, что бодро пьет коньячок, а был чай, замаскированный в бутылке под коньячной этикеткой. Укорили, тронул рукой гимнастерку у сердца: «Начальство приказывает». Спрашивал:

— Что ощутили вы, когда на ваш командный пункт пришел генерал Кребс с поручением от Геббельса?

Василий Иванович пожал плечами:

— Поручение у него было несуразное... Зудел, как муха.

О сталинградских днях своих толковал неохотно, если говорил, то о храбрости, уме, бесстрашии других. Заклучил:

— Там проверились, многому научились, на своем утвердились. А Кребс что? Вытекал из того, сталинградского дела как последствие...

Благоговейной горечью потрясла меня весть: Василий Иванович Чуйков похоронить себя завещал на Мамаевом кургане в Сталинграде...

Неподалеку от рейхстага в маленькой улочке — собственнo, в тупичке, потому что дальше все было завалено обломками стен, — натолкнулись на показавшуюся странной сценку. Повар, белобрысый до белесости и против обыкновения худой, раздавал из ротной кухни кашу. Но в очереди стояли не солдаты, а старики, изможденные женщины, худенькие, бледные до синевы дети — с помятыми котелками, треснувшими тарелками, кружками, консервными банками. Были они молчаливы, тихи, в глазах смесь страха, удивления, надежды. Загнанность. Безысходность... Поныне, вспоминая, думаю — пошли мне, судьба, счастье до конца дней моих не видеть таких глаз с бездонностью беды и потерянности... Михаил Яновский спросил повара — что он делает? В первой половине ответа была как бы некоторая неуверенность — наверное, сам удивлялся необычности происходящего, во втором — воинская тренировка:

— Так сами ж видите, товарищ капитан... Выполняю приказ непосредственного командира!..

Для тех, кто оставался в Берлине, война была кончена. А нам выпала другая судьба — идти на помощь оставшей Праге. Девятого мая, завершая разгром миллионной группировки гитлеровцев, мы шли через горящие городки Рудных гор, отрогов Судет, редко, но погромыхивали иногда пушки, рвались мины. В Теплиц-Шанове мы со своей машиной, у которой отказали тормоза, пристроились в середину танковой колонны. Скорость, скорость! Остановится передний танк — наша машина превратится в металлический блин, остановимся мы — размажут гусеницами по дороге. Командир, когда мы просили разрешения идти в колонне, предупредил:

— Запрещать не могу, разрешать тоже... Но не советую — гнать будем на пределе, я отвечаю за выполнение приказа, вы — сами за себя...

В наступающих сумерках влетели в Прагу. Редко, но еще стреляли — иногда рывало орудие, иногда сыпался пулеметный и автоматный горох. Но это уже была «зачистка» — Прага дышала воздухом свободы. Все кошма-

ры остались позади, а впереди был мирный день.

Так кончилась война для нас.

Бывал я в Берлине позже. Он уже отстраивался, сверкал новыми многоэтажными зданиями. Видел церемонию возложения венков к монументу в Трептов-парке. Трогательный ритуал, множество народа — пожилые, молодежь, дети. Думалось: кто был натурой этого монументального солдата с мечом, может, какой сталинградец? Ведь этот памятник делал тот же известный скульптор, что и мемориал Победы в Сталинграде, — Евгений Вучетич. Там, в Сталинграде, задыхаясь от сердечной недостаточности, водил он нас по строящемуся мемориалу и все говорил, говорил — ах, наверное, все еще чего-то не хватает, такой ведь подвиг, такие люди...

А совсем недавно, на днях, смотрел я по телевизору известную во многих странах программу из ГДР — «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас». Замечательная спортигра для детей! И такие были там милые, веселые, жизнерадостные ребятишки — особенно одна девчушка, небольшая, ладненькая, быстрая, что, честное слово, слезы радостного умиления сами просились на глаза и хотелось мне, одному из комбатов Сталинградского фронта, входившего в Берлин, сгрести их всех, этих мальчишек и девчушек, в объятия и потрепать по вихрам, и почмокать в задорные носы — бегите, прыгайте, соревнуйтесь! Вы, на что твердо надеюсь, вырастите хорошими людьми и будете добрыми друзьями нашим внукам и внукам!

Сентиментально для бывшего комбата? Возможно, что и есть малость. Но мы, ветераны, тоже люди, и притом люди социалистической цивилизации, а ведь ее основа — человечность, любовь ко всему доброму и прекрасному. Если надо это защищать в бою — не жалели и не пожалеем жизни, если надо созидать — не пожалеем сил.

Так было. И так да пребудет во веки веков!

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	3
I. УМЕНИЕ КОПИ...	6
Не кадровик	7
Дорога	17
Первый день	23
Начнем все сначала...	28
«Местность не подходит»	34
Примерка	39
...Добру молодцу урок	46
...И оттачивай глаз	51
Комиссар приехал...	54
Днем и вечером	56
«Неизвлекаемая»	61
На фронт?	64
Дальняя дорога	66
На Вешенскую	72
Скандал в Усть-Бузулукской . . .	75
Здравствуй, Дон!	80
Начало	84
II. ОТ ДОНА ДО ДОНЦА	89
III. СТАЛИНГРАД—БЕРЛИН	209

Литературно-художественное издание

Николай Матвеевич Грибачев

КОГДА СТАНОВИШЬСЯ СОЛДАТОМ...

Заведующий редакцией **И. Д. Носков**
 Редактор **Е. А. Подольный**
 Художник **В. Г. Долуда**
 Художественный редактор **Н. Д. Михайлин**
 Технический редактор **С. В. Дмитриева**
 Корректор **В. Д. Синёва**

ИВ № 1648. Сдано в набор 15.05.86. Подписано в печать 07.01.87.
 Г-13503. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура
 обыкновенная. Печать высокая. Усл. п. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 11,97.
 Уч.-изд. л. 12,28. Тираж 100000 экз. Заказ 5228. Цена 90 к. Изд.
 № 1/е-241.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР.
 129110, Москва, Олимпийский просп., 22.

Тип. изд-ва «Омская правда», г. Омск, просп. Маркса, 39.



материю и вообще искусство - руко-
мешное оружие в наши дни! Он
сидит молча, ходит на стеновом
мешке...

— Ну что, сценарий, вонючий!

Второй миткой он был убит.
Перед боем выданы б... и...
в разведку. Извод в
это и...

Обе
мол
мол
как поше-
пова...

Потом
вышли
меш в
конфай
сценар
высвоб
конфай
меш и
второй
павел не

отход на
голова и...

5 убитых. 3 раненых. Уничто-
нено 50 пумов, 638 снарядов,
2 танков, 1 пумовый пум.



